

ГРАНИ

GRANI

145

1987

Verlagsort: Frankfurt/M., Juli-September

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



Журнал основан в 1946 году
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XLII

№ 145

1987

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Игнатий ШЕНФЕЛЬД. Норберт из "Племени Рогатое Сердце". Рассказ	5
Александр МОРЕВ. Стихи	27
Рафаэль ШАПИРО. Время говорить. Главы из книги	36

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В.Л. Теуш. Из "Книги о Чехове"	89
Валентина СИНКЕВИЧ. "Пойдут стихи мои, звеня..."	128

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Евгения ФРЭЗЕР. Дом на Двине	151
------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр ЮГОВ. Смотреть правде в глаза	185
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Михаил НАЗАРОВ. Прикосновение к тайне. Адрей Битов. Рассказы	235
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ

Валерий СЕНДЕРОВ. В редакцию журнала "Грани"	241
Михаил КАЗАЧКОВ. Письмо из Мордовии	243

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Июль — Август — Сентябрь 1917 года	260
Митинговая стратегия	264
Женщины-герои	266
Новые министры	268
Похороны казаков	271
Тобольск	274
Проф. К. СОКОЛОВ. Политическое обозрение	277
Ген. Н.Н. ГОЛОВИН. Выступление генерала Корнилова. Главы из книги	280
Провозглашение Российской республики	302

Обложка работы художника Н. Мишаткина

Игнатий ШЕНФЕЛЬД

Норберт из «Племени Рогатое сердце»

Не смог я спасти ни одной жизни...

Е. Фицовский. "Прочтение пепла"

Увы, статисты сегодня не требовались. Разочарованный вышел я из кинофабрики, помещавшейся в древнем медресе, где в последние недели снимались короткометражные фильмы о сопротивлении в оккупированных немцами Чехии и Польше. Владелец костюма европейского покроя, я мог время от времени рассчитывать здесь на прилично оплачиваемую поденщину. Я пробился сквозь лабиринт улочек Шейхантаура и направился в новый город, на товарную станцию, где почти всегда можно было примкнуть к артели грузчиков. Беспокоило меня состояние моего костюма, который быстро приходил в негодность из-за бродячего образа жизни, бездомности и временной работы на станции. Такие ноши, как мешки с цементом или смолистые бревна не способствовали сохранению моего "западноевропейского" вида.

Я шел вдоль бесконечных глинобитных дувалов без окон и дверей и чувствовал, как закипает во

мне злоба против бездушия этого города. Просто смешно было вспоминать, как приводила меня в восторг эта заурядная восточная экзотика, когда через пять недель после начала войны я очутился в Ташкенте. Конечно, это не был город из "Тысячи и одной ночи", но после ужасов прифронтовой зоны и унылой полосы Центральной России все здесь пленяло атмосферой мира, чуть сонным ритмом жизни, сочной зеленью парков и скверов. Сидя на мягком ковре уютной чайханы под сенью платанов и попивая кок-чай из пиалы старинного фарфора, тогда, в августе 1941-го, я вспоминал, как двадцать лет назад добрался сюда Мишка Додонов, герой романа "Ташкент — город хлебный" Неверова. Вырвался парнишка с голодного Поволжья, откуда-то из-под Самары, долго странствовал через пески Кызыл-Кума, пока не попал в город хлеба. Наелся досыта да еще раздобыл мешок муки для братьев и сестер дома. Остались, однако, от таких Мишек какие-то горькие воспоминания среди местных жителей, если уж само название Самара стало синонимом слова "вор".

— Самара карабчик! — говорит мне на базаре старый узбек и, отворачиваясь, сплевывает с негодованием.

Помню, что базар поразил меня не столько своим великолепием и обилием невиданных ранее фруктов и овощей, сколько тем, что все это богатство, раскиданное на громаднейшей площади, оставалось на ночь на месте, кое-как прикрытое тряпьем — под охраной лишь одного старикашки, семенящего вокруг с кремниевым ружьем на плече. Но пройдет немного времени, и Ташкент приобретет название "Города тысяч воров".

Я был одним из первых, кого война забросила сюда. Здесь не чувствовалось, что фронт подкаты-

вается к Москве и Ленинграду. Но уже через несколько недель из этих метрополий начали съезжаться сюда эвакуированные ведомства и учреждения, театральные и эстрадные коллективы, представители творческих объединений и т. д. Каждый поезд из России выбрасывал на ташкентские перроны толпы беженцев. Жизнь забурлила, и в городе сразу стало тесно. Уплотнялись квартиры, а вскоре началась борьба за каждое спальное место. Вначале я перебрался из гостиницы к разведенной грузинке Лидии, которая поделила со мной свою широкую двуспальную кровать, но убедившись, что не найдет во мне супруга, выбросила меня на улицу, чтобы пустить в квартиру за большие деньги каких-то киношников из Москвы. В городе было довольно много услужливых и не первой молодости разведенных дам, но их бесцеремонные притязания на мою свободу так меня отталкивали, что уюту супружеской спальни я предпочел место на полу в потайной ночлежке. Пожилая бухарская еврейка ухитрилась на крошечной площади укладывать валетом двадцать босяков. К счастью, благодаря глазу хозяйки, пока все обходилось без вшей и воровства. Являлся я туда не раньше десяти часов вечера, чтобы не попасться на глаза соседям и участковому инспектору, платил за ночлег, находил свободное место, клал в изголовье ботинки и шапку, натягивал на себя пальто и засыпал. Чуть свет надо было незаметно улизнуть на улицу.

На товарной станции, к моему удивлению, было необычно пусто. Ни одного вагона не было на путях, стоял только потухший маневровый паровоз. Такого еще не бывало, и, обескураженный неудачей, — денег в кармане оставалось немного — я побрел обратно в город, выбрав путь мимо главного вокзала.

Просторная привокзальная площадь с запыленным газоном посередине, окруженная дощатыми киосками, давно уже превратилась в обширное кочевье беженской бедноты. Крова над головой они себе не нашли, а предлагаемое властями переселение в Голодную Степь отпугивало перспективой работы в хлопководческих колхозах, продовольственные проблемы которых вполне оправдывали зловещее географическое название. Многодетные семьи, потерявшие призванных в армию кормильцев, раскладывали свои узлы с убогими пожитками прямо на земле и ютились на площади неделями напролет без крова от дождя и жары, лишенные самых элементарных санитарных условий. Жили в ожидании какого-то чуда. Когда же на площади не стало уже ни одной пяди свободной земли, когда в вокзальной уборной не было куда ногу поставить и все закоулки и углы были загажены, а у людей все время уходило на битые вшей, — прибыли в Ташкент освобожденные по амнистии поляки из тюрем, лагерей и ссылок. Сотни тысяч людей, изнуренных каторжной работой, измученных цингой и пеллагрой, выбиваясь из сил, тянулись в Среднюю Азию в поисках тепла, хлеба и врачебной помощи. Здесь их ждало глубокое разочарование. Ранняя и холодная осень сулила на редкость суровую зиму. У Делегатуры польского правительства в Ташкенте возможности для оказания помощи были весьма ограничены: не было никаких жилых помещений, в городе уже давно ощущалась нехватка продуктов, больницы были переполнены. Польская миссия на вокзале выдавала в день по миске супа и куску хлеба. Началась эпидемия сыпняка и дизентерии.

Приближаясь к привокзальной площади, я услы-

шал шум голосов и детский плач. Медленно обходя краем чудовищное лежбище, я всматривался в лица людей, сидящих или лежащих на кучах лохмотьев и старой одежды, на кусках толя и картона: а вдруг найдется кто-нибудь близкий? Я ловил лихорадочные взгляды больных, и отводил взгляд от тех, которые уже ни в чем не нуждались. Никого не нашел я в этом зловонном муравейнике и уже собирался уходить, когда мне показалось, что сквозь многоголосый шум слышу свое имя. Я остановился и напряг слух, чтобы убедиться, не галлюцинация ли это. Кто-то действительно звал меня: слабый крик доносился откуда-то из самой середины густой толпы, куда трудно было пробраться. Я все же начал протискиваться в ту сторону и вдруг заметил неуклюже поднимающуюся с земли фигуру, которая отчаянно махала мне болтающимся рукавом. Худой маленький человек, в кавалерийской шинели до земли встал, наконец, на ноги и заковылял в мою сторону.

Я уставился на бледное, давно небритое лицо, покрытое синяками и царапинами, на длинные свалывшиеся волосы — и не узнавал, не мог узнать, пока не поразило меня что-то знакомое в его растерянном извиняющемся взгляде. Незнакомец пробовал даже улыбнуться и развести руками. Неужели это Норберт? Боже мой, Норберт из "Племени Рогатое сердце"! Как это возможно, откуда он здесь взялся? Всего мог я ожидать, но только не его появления, да еще в таком виде! В последний раз мы виделись пять месяцев тому назад во Львове, за несколько часов до того, как взрывы бомб возвестили миру начало немецко-советской войны. Мы сидели тогда до поздней ночи, слушали сводки Би-Би-Си, предсказывающие начало военных действий в течение ближайших часов и разо-

шлись в тревоге, предчувствуя грядущие катаклизмы.

И вот идет ко мне через юдоль печали оборванный до крайности человек, в котором невозможно было узнать недавнего денди Норберта. Под шинелью без пуговиц видны были пропитанная потом гимнастерка на голом теле и выцветшие форменные галифе, одна штанина которых была разорвана от пояса до слетающей с босой ноги галоши. Другого такого оборванца здесь не было. Я стряхнул, наконец, с себя оцепение и шагнул вперед. Обессиленный, прильнул он ко мне, а я приподнял это невесомое существо и к ужасу заметил краем глаза, что вдоль воротника его шинели ползет громадная вошь. Я тогда еще гнушался вшами, не предчувствуя в какие близкие отношения мне придется войти с ними в скором будущем. Быстро овладев собой, я осторожно поставил его на землю и, взяв под руку, вывел из толчеи и потащил в ближайший проулок. Нашлось место под забором. Он лег, я присел рядом. Тяжело дыша и запинаясь, Норберт стал рассказывать, что стряслось с ним после той памятной иньской ночи во Львове.

С первого же дня войны Норберта призвали в Красную армию, хотя он не был советским гражданином и с армией никогда ничего общего не имел. На призывном пункте он застал много других львовских художников. Их обмундировали и прикрепили к какому-то агитпропу при политуправлении армии, где они должны были заняться наглядной агитацией — писать плакаты и транспаранты, чтобы взбодрить красноармейцев, совершенно сбитых с толку неожиданным поворотом событий: в течение одной ночи Германия из союзника превратилась в агрессора!

Постоянно отступая под артиллерийским обстрелом и бомбардировками с воздуха, эшелон с художественной мастерской на колесах катился неудержимо на восток. А он, Норберт, все писал и писал мрачную бабу с мужским лицом, которая, тыкая в зрителя могучим пальцем, должна была изображать Родину-мать, призывающую всех на свою защиту. Иногда подбрасывали ему для переделки громадные щиты — остатки "освободительной" кампании против Польши 1939 года. Бравый конноармеец в буденовке на голове нанизывал на пикку каких-то двух дядьков с тонкими ручками и ножками. На одном был кунтуш и конфедератка с плюмажем, на втором шаровары, вышитая сорочка и папаха со свисающим шлыком. Оба спесиво размахивали саблями. Подпись вещала: "Помнят псы-атаманы, помнят польские паны коннармейские наши клинки!". Задача была несложной: шляхтича и гайдамака надо было перемазать в корчившихся гитлеровцев, а новая подпись уверяла: "Наше дело правое, враг будет разбит!"

Но призывы не действовали, и на южном фронте Красная армия все время отступала. В Киеве внезапно отставили от военной службы всех поляков как не внушающих доверия и направили их в трудбатальон в глубокий тыл. Норберт получил железнодорожный литер, сухой паек на неделю и велели ему добираться до какого-то поселка за Уралом, где он сможет исправиться на лесоповале или строительстве дорог.

Норберт излагал все это с трудом, но не без оттенка свойственной ему иронии. Я слушал и вдруг спохватился: он ведь, наверное, умирает с голода! Я вскочил, извинился и пообещал скоро вернуться. Пересек площадь, за вокзалом нашел базарчик,

где узбечки за большие деньги продавали съестное. С кружкой мацони и лепешкой в руках я пробрался среди ног лежащих на площади и донес все в целости Норберту.

Окостеневшими пальцами отщипывал он, не торопясь, куски плохо выпеченного теста и так же медленно подносил их к спекшимся губам, но своего рассказа не прекращал.

Из прифронтового, впавшего в панику Киева нелегко было выбраться. Ему посчастливилось найти место на барже для эвакуированных и добраться по Днепру до Кременчуга. Здесь началась одиссея в товарных вагонах и полувагонах с углем. Настоящим бедствием были случайные попутчики. Под Харьковом украли у него захваченный из дома несессер и ящик с кистями и красками. В Сызрани он выпрыгнул из теплушки, чтобы набрать кипятку, а поезд внезапно тронулся, увозя его вещевой мешок с запасным бельем и шинель, подогнанную по фигуре. Трагизм положения усугублялся тем, что по-русски Норберт знал только несколько самых простых слов и каждый раз, когда он обращался за помощью к военным комендантам на станциях, его задерживали.

Он не понимал, чем он был так грозен? Но как только он являлся в комендатуру, полураздетый, грязный и измученный, коменданты тут же принимали его за немецкого диверсанта или шпиона. Он пытался говорить с ними по-польски, вставляя известные ему русские слова: "товарищ, хлеб, вагон". Но эти здоровенные парни смотрели на заморыша с ужасом, расстегивали кобуру пистолета и вызывали кого-нибудь говорившего по-немецки. И стоило Норберту ответить на нелепый и исковерканный вопрос горе-переводчика, как ко-

менданты убеждались, что революционная бдительность их не подвела, они тут же отводили его в кузку и начинали звонить по инстанциям о поимке ловкого шпиона. Через несколько дней, проведенных в клоповниках, истинное положение вещей, хоть и с трудом, выяснялось. Проверяли его литер для бесплатного проезда и даже иногда выписывали продовольственный паек. А один младший лейтенант, которому он сделал карандашный портретик, подарил завалывшуюся шинель. Она, правда, была велика, но в вагоне на нее можно было лечь и ею же еще и укрыться. Норберт считал, что ему повезло: в прифронтовой зоне он сам видел, как на станциях подозрительных без лишних вопросов ставили под водокачку и расстреливали.

Таким образом Норберт продвигался на восток, но с попутчиками дело у него все ухудшалось. Его шпыняли, били, отнимали последнее: гимнастерку, брюки, сапоги, бросая взамен тряпье.

В Куйбышеве он впервые за весь путь услышал польскую речь. Это были освобожденные из лагерей соотечественники. Они выглядели не намного лучше его. Норберт, лишенный информации, так как русских газет он не читал, а трескотню громкоговорителей не понимал, только теперь узнал, что подписан советско-польский договор и объявлена амнистия для поляков. У лагерников была цель: добраться до Узбекистана, где должна организовываться польская армия. Они держались вместе и, хотя и обессиленные, умели защититься от налетчиков. Норберт присоединился к ним и их находчивость не один раз его спасала.

За Оренбургом эшелоны потащились черепашьям темпом и все время съезжали на запасные пути, уступая дорогу поездам, идущим на фронт. На некоторых разъездах стоянки затягивались на

несколько дней. Еще хуже стало, когда пошли казахские степи и пустыня Кызыл-Кум. Пересаживались из одного эшелона в другой, несколько часов езды, и опять бесконечное ожидание на каких-то словно вымерших полустанках, где нельзя было достать ни куска хлеба. При пересадках возникали драки, чтобы попасть в вагон, потом за место на полу...

Я недоверчиво взглянул на его маленькие руки и хрупкие пальцы, которые могли справиться только с карандашом и кистью, но кровоподтеки и синяки свидетельствовали о том, что он давал отпор.

После нескольких недель мытарств кончились степи и пустыни. Они достигли Ташкента. И здесь у него уже не хватило сил пойти с ребятами в город, в Делегатуру, чтобы выяснить положение и просить о помощи. Он остался ждать их на вокзале.

Я рассказал ему вкратце, как удалось мне вырваться из Львова и довольно быстро добраться до Ташкента. Я не сказал ни слова о своем положении и бездомности, ибо по сравнению с ним был счастливчиком.

Не знаю, дошли ли до него мои слова — его состояние на глазах ухудшалось. Измученный непривычным для него многословием, он уронил бессильно голову и как бы вздремнул. Пылающее лицо и свистящее прерывистое дыхание говорили о повышенной температуре. Это было, несомненно, начало сыпного тифа. Он нуждался в немедленной помощи: надо было произвести дезинсекцию, вымыть его и уложить в кровать. Но как? Все больницы переполнены, а жители города уже так свыклись

с человеческим горем на каждом шагу, что обращаться к ним было бесполезно.

Мне некуда было его забрать. Если бы я даже взял его на руки, перенес через город и, дождавшись ночи, привел в ночлежку, хозяйка не впустила бы нас.

Норберт что-то тихо бормотал, начиная уже бредить, а я, потупив голову, сидел рядом, убитый своей беспомощностью, и ничего не мог придумать. Я перебирал в памяти всех немногочисленных знакомых в городе и наконец остановился на одном. Это был ничтожный, но все-таки шанс.

В период моей бродячей жизни в Ташкенте для меня всегда было проблемой, где провести вечер перед тем, как можно будет отправиться в ночлежку. Мало было в городе кинотеатров, да и шли там плохие картины, рестораны и кафе давно уже позакрывались, за исключением одного, при гостинице "Националь", куда я заходил, когда это бывало мне по карману — благо вид моего костюма еще не вызывал возражений швейцара. Впрочем, он меня помнил с тех пор, когда я там останавливался в августе. Сходилась в ресторане весьма разношерстная публика. Постоянные посетители — эвакуированная театральная элита из Москвы и Ленинграда, бывшие высокие сановники, политические эмигранты из Западной Европы, крупные дельцы, журналисты, московские супербляди — создавали атмосферу, напоминающую точь-в-точь известную по литературе обстановку ресторанов Одессы, Новороссийска и портовых городов Крыма начала 20-х годов, когда сидевшие на чемоданах осколки старого мира выжидали или победы белых в гражданской войне, или места в каюте парохода,

отправляющегося в Константинополь, а пока спекулировали всем, чем только можно было.

Я занимал какое попало свободное место в неизменно переполненном зале и заказывал единственное блюдо в меню — порцию камчатских крабов, неисчерпаемый запас которых лежал с давних пор на складах ресторана, ибо ташкентцы пренебрегали этим деликатесом. Времени было у меня много, я неторопливо лакомился крабами, запивая скверным пивом, завязывая необычные кабацкие знакомства с соседями за столиком и выслушивая головокружительные предложения.

Выступающий в местном цирке известный борец Ян Цыган жаловался на слабый подбор состава участников турнира из-за нехватки мужчин. С досадой рассказывал, как вызвался добровольцем молотобоец из пригорода, силач, который вышел на ковер в валенках. При первом же приеме "тур де бра" валенки переброшенного через голову кузнеца полетели на галерку и, конечно, никто их и не подумал вернуть. Ущерб пришлось возместить.

— Ух, и мелкий народ пошел ныне, говорю вам — вздохнул Ян и, с нескрываемым удивлением — а почему не в армии? — ощупав мою шею, плечи и бицепсы, спросил, не хочу ли я принять участие в турнире? Я остолбенел и промямлил в ответ, что плохо вижу и не расстаюсь с очками, но мой собеседник сразу же нашел выход — ведь я могу выступать, как "Черная маска". Тогда я несмело обратил внимание чемпиона на мой рост. Он парировал напоминанием о выдающемся борце поляке Збышке Цыганевиче, который был на голову ниже меня. Мне пришлось прибегнуть к последнему аргументу: как-никак, а я все-таки интеллигент, иногда и стишок сочиню, так что не подобает мне давать себя избивать. Тогда заслуженный мастер спорта

применил психологический прием "тур де тет" и положил меня на обе лопатки ссылкой на авторитет поэта Ильи Сельвинского, который не чурался выступать на ковре и что он, Ян Цыган, гордится тем, что боролся с ним на турнире в Таганроге. Я не доел крабов и бежал...

Зина, эффектная блондинка, имевшая в Москве широкий круг знакомых мужчин, призналась мне, что у нее уже были неприятности с милицией из-за слабости к иностранцам. Однако введенная в заблуждение моим псевдокапиталистическим видом она выразила готовность уделить мне две-три ночи в неделю за твердую валюту или что-либо из драгоценностей. Ее многообещающий шепоток прекратился лишь тогда, когда я достал кiset с махоркой и клочок газеты и начал крутить козью ножку...

Абраще Калинскому из Ломжи пришла в голову гениальная идея, как побыстрее сколотить капитал. Простодушных людей втягивал он в какие-то мошеннические сделки и, обобрав до нитки, передавал в руки чекистов как иностранных шпионов. Ко мне он почувствовал расположение и не переоценил моих финансовых возможностей. Он подсаживался и, благожелательно улыбаясь, предлагал "как свой своему" покупку небольшой партии золота по сходной цене или — за небольшую мзду — тайный переход через персидскую границу.

Зная уже тогда, что такое "сексот", я отговаривался безденежьем и не давал себя провоцировать. Это мне, впрочем, не помогло, так как через некое время Калинский совсем бескорыстно определил меня на многие годы в Архипелаг ГУЛаг...

Самым симпатичным оказался, средних лет мужчина, который представился как заведующий отделом агентства "Окна ТАСС", изготавлившего

пропагандистские плакаты с сатирическими стишками. Я купил его намеком на возобновление традиций "Окон РОСТА", и этот товарищ, Иосиф Игин, известный как карикатурист и шаржевик, поставил мне водку и даже готов был устроить на работу, если бы я умел рисовать. С тех пор мы поддерживали знакомство и обменивались на ходу улыбками.

Теперь я вспомнил этого товарища Игина, вернее Иосифа Гинзбурга, как я потом узнал, и решил к нему обратиться. Надо было его разыскать и убедить спасти Норберта.

Я вскочил и дотронулся до плеча Норберта. Он, казалось, потерял сознание, но потом поднял глаза и ждал, что я скажу. А я прокричал — мне почему-то казалось, что он плохо слышит — чтобы он не двигался с места, пока я не организую ему помощь. Не знаю, сколько времени понадобится, но я обязательно вернусь. Так что держись, Норберт! Все будет в порядке! На углу я обернулся и помахал ему рукой.

С вокзала с большими перерывами ходил в центр города трамвай, но попасть в него было невозможно. Скорее будет добраться бегом.

Мы познакомились с Норбертом летом 1936 года где-то в Карпатах. Ему было тогда, наверное, двадцать шесть — двадцать семь лет. Был он старше меня лет на пять, но из-за своей тщедушной, хрупкой фигуры напоминал юношу. Тонкая талия и смуглое лицо с томным взглядом вызывали в памяти полные экстаза лица молодых евреев с картин Маврикия Готтлиба. Был он уже тогда известен как выдающийся художник и сотрудник лучших сатирических журналов страны. Умножал его славу факт принадлежности к избранному кру-

гу старопольской по духу группы художников "Племя Рогатое сердце", где его называли "Норбертом из Кракова".

Запыхавшись, добежал я до "Националя". Я не надеялся застать Игина в это время, но рассчитывал на всезнающую официантку Любу. Миловидная и умная девушка всегда знала, где квартируют солидные посетители ресторана, особенно одинокие и щедрые на чаевые. Она оправдала мои ожидания и сказала адрес Игина: увы, это было в другом конце города, где-то за Бешагаческим озером. Такси тогда еще в Ташкенте не знали, извозчики исчезли с началом войны, при известном везении можно было иногда для перевоза мебели раздобыть допотопную арбу на двух громадных колесах, запряженную верблюдом. И я опять побежал.

Норберт неохотно рассказывал о себе. В большой компании он забивался в угол и только водил глазами по лицам присутствующих, как будто отбирал тех, кого хотел бы нарисовать. Язык у него развязывался только тогда, когда речь заходила об основателе "Племени Рогатое сердце" Шукальском, то есть о "Стахе из Варты". О нем мог рассказывать часами, как бы все еще переживая счастливое стечение обстоятельств, когда маэстро Шукальский приехал из Америки и, посмотрев на подsunутую ему кем-то из друзей почти детскую мазню малолетнего Норберта, сына бедного еврейского портного, взял его под свое крыло и занялся его судьбой. Много раз довелось мне выслушивать историю, как отец не мог понять, что нужно крупному скульптору от его сына. Что за талант, какой-то такой талант, разве с таланта можно жить? Норберт должен стать портным и унаследовать мастерскую

отца и его клиентуру. А если у него нет призвания к портняжьему ремеслу, пусть учится на парикмахера, — тоже красивая профессия. Он должен стать художником только потому, что мажет заборы и стены и марает дома каждую бумажку? Полно шутить! Он, старый Штрасберг, еще не встречал художника, у которого были бы целые штаны. Это все голожопые, извините за выражение. Слышал ли он когда-либо о Маврикии Готтлибе? Хорошенькое дело! Он слышал о нем, когда тот был еще Мойше-Давидом. Подумаешь, важная персона, Готтлиб-Шмоттлиб! Хотя он и из богатого дома, но как только стал художником, то, прожив всего двадцать три года, умер от чахотки, как последний бедняк. Недаром твердят краковские портные: куда самой красивой картине до хорошо скроенной пары брюк!

*

Долго блуждал я узкими и кривыми улочками, ища несуществующие их названия и номера домов. Наконец, я нашел нужный мне дом. Пришлось долго ломиться в двери, пока калитка открылась. От пожилой женщины узнал я, что ее жилец домой возвращается поздно. Но она сказала мне, где он работает — в центре города...

Ближе сошлись мы с Норбертом только тогда, когда за год до нападения немцев на Польшу, переехал он во Львов, где ему устроили большую выставку. Успех был заметный, критика не жалела похвал, большая часть картин была распродана, поступили заказы на портреты. Я помогал Норберту организовывать выставку, а потом стал частым гостем в приобретенной им большой мастерской.

В его творчестве намечался перелом, он явно отходил от "шукальщины", от трехмерных кубических форм и статичности скульптуры — к колористическим эффектам и постепенному затиранию контуров. В его жанровой живописи стали преобладать свет и цвет.

В разговорах, пока он писал громадную картину "Концерт", узнал я, откуда взялся псевдоним "Норберт из Кракова". Дело в том, что его учитель Шукальский во время многолетнего пребывания в Америке увлекся исследованием искусства доколумбийского периода, что отразилось потом в его творчестве. Оттуда проникся идеей тотемистского клана. Скрестив это с языческими верованиями древних славян, он основал "Племя Рогатое сердце" из талантливой художественной молодежи. Все должно было быть как у древних полян — культ Световида, вместо фамилий только имена с указанием места рождения. Рядом с протоплястом Стахом из Варты молодые художники приняли имена Збых из Слезина, Болько из Любранца, Мирослав из Кнышина — вплоть до Норберта из Кракова. Их эмблемой было изображение сердца с рогами, нашитого на просторную блузу.

"Окна ТАСС" помещались в бараке во дворе большого здания. Пришлось долго ждать в заставленных загрунтованными щитами сенях. Я начинал терять надежду.

Игин вышел ко мне в забрызганном красками халате. Высоко поднятые брови выражали озадаченность моим визитом. С места в карьер я пошел в атаку и говорил, наверное, пять минут подряд. Речь моя получилась хаотичной и только увидев обалдевший взгляд, я понял, что смысл сказанного не дошел до него. Я повторил, на этот раз медленно

и внятно, напомнил, как он сетовал на отсутствие хороших рисовальщиков, и вот, по счастливому случаю, могу помочь: я встретил одного из лучших польских художников, прямо знаменитость в области сатиры, который придаст блеск ташкентским "Окнам ТАСС". Ну, что вы скажете, товарищ Игин?

Товарищ Игин взглянул на часы и ответил, что в принципе да, но рабочий день подходит к концу, так что лучше всего будет встретиться сегодня вечером в "Национале". Рад будет познакомиться со знаменитым коллегой, а об остальном надо будет поговорить. А пока до свидания, ибо работа не ждет. Он повернулся и уже готов был исчезнуть за дверями, когда мне удалось его задержать. К сожалению, я не смогу прийти сегодня с моим другом в ресторан. И не смогу привести его завтра утром сюда в мастерскую. Дело должно решиться сейчас. Где он теперь находится? Представьте себе — на главном вокзале. Что мешает ему сюда явиться? Он, понимаете, плохо себя чувствует, можно даже сказать, что болен и не стоит на ногах. Нет, он не может отлежаться в кровати и подлечиться, так как у него нет ни кровати, ни квартиры. Откуда он взялся на вокзале и что там делает? Ничего не делает, приехал из России и ожидает меня, надеется на помощь, а я теряю попусту время. Надо отправить за ним транспорт, хотя бы эту вот полуторку, что стоит перед баракком. Где он до сих пор был? Ох, это целая история: он был мобилизован и писал агитационные плакаты для армии. Конечно, у него большой опыт в этой работе, вы сами в этом убедитесь, Иосиф Соломонович, это прямо клад для вас. Почему он не в армии? Разве вы не слышали, что бывших польских граждан освобождают из Красной армии? Что, вы считаете, что он не за-

служивает доверия, как идейно чуждый элемент? Нет, этого я от вас не ожидал, Иосиф Соломонович! Вы говорите, что "Окна ТАСС" тоже политико-идеологическое учреждение, и секретарь парткома никогда не согласится допустить чужака?

Перед лицом катастрофы, когда ускользал единственный шанс спасения Норберта, я впал в бешенство и перестал владеть собой. Я настиг уходящего Игина, схватил его за отворот халата и притянул к себе:

— Слушай, Гинзбург, мне наплевать на тебя, на твое учреждение вместе с его партсекретарем, только хочу спросить тебя, заслуженного деятеля искусств и художника, где твое чувство солидарности с большим художником, умирающим от тифа на загаженной привокзальной площади под открытым небом?! А если и это тебе до лампочки, так я обращаюсь к тебе, подлая твоя душа, как еврей к еврею, чтобы спасти жизнь третьего еврея: опомнись, Гинзбург, подумай, что делаешь?! Неужели ты совсем забыл зов на устах умирающих евреев: "Шма, Исраэль, адонай элохейну, адонай эхад! Один-единственный Бог для всех сыновей Израиля!"

И вдруг я руками почувствовал, что это подействовало: Игин перестал метаться и обмяк, как будто из него выпустили воздух. Выпучил на меня испуганные глаза, а когда я его отпустил, выскочил во двор. Там растормошил водителя полуторки, велел ему ехать поскорее на вокзал и отвезти больного в приемный покой университетской клиники, где он уже будет ожидать, устроив блат через знакомого администратора.

Ранние ноябрьские сумерки спускались на землю. Я взглянул на уличные часы — пять часов ухлопал

я на эту беготню по городу. После многих недель неудач — первый успех. Водителя не надо было поторапливать, машина повизгивала на поворотах и, как будто разделяя мою радость, подпрыгивала всеми колесами по булыжной мостовой.

И вот мы уже перед зданием вокзала. Я выпрыгнул из кабины, осмотрелся и остолбенел. Что-то не так, здесь какая-то ошибка! Разве мы на самом деле приехали к вокзалу? А если мы действительно на месте, то что здесь случилось? Какая-то еще неосознанная беда, которую нельзя поправить, сразу вогнала меня в пот. Почему привокзальная площадь пуста, почему живой души не видно? Куда все подевались? А были ли здесь люди вообще? Были ли сегодня?

Я закрыл глаза, подождал и опять осмотрелся. В мутном свете уличных фонарей лоснился отсыревший вечером асфальт и не было никаких признаков, что еще несколько часов назад площадь кишела народом, которому некуда было деваться. С проблеском надежды я побежал в темноту проулка. Место, где я оставил Норберта, было пусто. А может быть он отполз чуть дальше? Я приложил руки ко рту и крикнул: "Норберт, Норберт, откликнись!" Напрягая зрение, я забрался в темный, вонючий конец проулка, чуть ли не прощупал каждую пядь земли, проверяя, не лежит ли он где-либо без сознания. Смирившись с бесполезностью поисков, я повернул назад и вышел на пустой перрон вокзала. Пожилой узбек в железнодорожной фуражке чистил на скамье карбидные лампы. Я сел рядом и спросил, что здесь произошло?

Из его рассказа я понял, что приехал усиленный отряд милиции и окружил плотным кольцом всю окрестность вокзала; милиционеры начали все это скопище народа загонять в пустые товарные

вагоны, целые эшелоны которых начали как раз подавать на пути. За два часа погрузили всех, площадь подмели, а поезда тронулись куда-то в сторону Бухары.

Опустошенный сидел я, и только одна мысль бродила в голове: как же так, ведь общеизвестно — стоит взять любую газету, — что работа железнодорожного транспорта систематически хромает, что поезда ходят с опозданием, часто на много часов, что хронический недостаток вагонов парализует снабжение населения... Но что за диво — всякий раз, как только доходит до высылки людей или депортации населения, железная дорога оказывается на высоте, вагоны поступают в избытке и уходят с удивительной пунктуальностью...

Не знаю, куда Норберт доехал, если вообще доехал. Года полтора спустя я сидел в тюремной камере с человеком, который был в этом транспорте. Их повезли через Бухару в Чарджоу, где погрузили на пустые железные баржи. Буксир тянул эти сцепленные баржи шестьсот километров вниз по Аму-Дарье, в пустынные места Каракалпакии, где когда-то поселяли прокаженных. Лежа под открытым небом на железном дне баржи, люди в течение многих недель умирали от голода, изнурения и кровавого поноса. Мало кто пережил это плавание.

Всякий раз, когда, читая о потерях польской культуры в годы той войны, я натываюсь на упоминание о Норберте — обычно сопровождаемое предположением, что он пал жертвой массового уничтожения евреев в гитлеровских лагерях — мною овладевает беспокойство, переходящее в угрызения совести. Почему до сих пор не опровергнул я эти

предположения и не рассказал правду о его гибели? Не потому ли, что где-то в глубине моей души постоянно шевелится сомнение: а действительно ли тогда, в Ташкенте, сделал я все, чтобы спасти жизнь своего друга, выдающегося художника Норберта Штрасберга?..



РОССИЯ

Сына взяли, и мать больная.
В комнате солнечной — темно.
На улице праздник — Первое мая.
Вождем завесили ей окно.

05. 1949

СТАРУХА

Умерла.

Унесли.

Тихо.

Дождь по трубам — и снова сухо.
И земля на могиле прахом.
И цветы на могиле пухом.
Это жизненная протрация —
под бельем ее чистым в комодке,
под газетой старой в комодке,
где написано о народе,
трехпроцентные облигации.
И одна из них выиграла вроде...
Неизменно все было серым.
А потом вдруг стало черным.
И вот совсем неизвестным...

Все сначала бывает тесным,
а потом простым и просторным.

ГОЙЯ

Пленных в тыл отвести приказали,
наших троих в конвой им дали.
Конвойным скучно, шагают трое:
один с ухмылкой, другой — суровый,
а третий — шельма, в глазах такое...
Совсем безусый, белесобровый.
А пленных — тридцать,
тридцать фрицев.
Кутают щеки, носы в башлыки.
Им холодно, охают:
очень плохо им —
зима, Россия, большевики!
Но рады фрицы —
из боя вышли.
Что ж, что вшивые,
главное — живы!
А трое в ватниках
шагают в валенках,
рукавицы теплые на автоматиках.
Морозец щекочет,
щиплет щеки,
солнце в синем снегу хохочет...
Только долго вести их очень...
В тыл доберутся только к ночи.
Но в лесу автоматная очередь
гулко рассыпалась над Россией...
Легли все тридцать
пленных фрицев,
мертвых фрицев
в мерзлом осиннике.

Руки подняты
и не поняты,
души отняты
и не отпеты.
А трое обратно идут:
"Мать их так!" —
солнце на автоматиках ...

СТАРАЯ СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Часы за часами надо стоять,
смирно надо стоять.
Учись ружье к плечу поднимать
и к сапогу опускать!
И кто-то не вынес этой муштры —
бледнея в строю стоял,
и кто-то не от полдневной жары
нарушил строй и упал.
— К обеду начистить са-по-ги!
А руки можно не мыть...
Шли на обед, не сбиваясь с ноги,
скрипели и пели в пыли сапоги —
с песней шли есть и пить.
И снова, с ноги не сбиваясь, взвод
с песней в отхожее шел.
Солнце, песня, полный живот —
и значит, все хорошо!
А если в сортир заглянула бы мать —
не захотела б рожать:
по ранжиру сыну стоять,
по ранжиру и
Сразу тронулись — крепче шаг! —
не бойся, не будешь вы-се-чен!
Это раньше было так,
теперь без зу-бо-ты-чин.

Теперь, если скажет что сержант, —
смолчи, а если ответил —
даст наряд. (А в зубы даст
так, чтоб никто не заметил!)
И вновь по порядку номеров
голоса набирают бег.
Стоим как забор, как поленница дров —
бревным-бревно человек!
А наш старшина мордаст и туп,
он глазом целит в меня...
Он в гимнастерке зеленой — дуб,
и мы — молодой дубняк.

* * *

Мир был молод и подстрижен под нулевку.
Пальцы пахнуть начали махоркой.
Дерево и сталь звались винтовкой,
чья-то жизнь и смерть звалась винтовкой.
Розовый, веснушчатый, высокий,
мир был молод и подстрижен под нулевку.

Перебежка, склеп, и вновь могила,
мраморный Христос с подбитым глазом...
Пуля уходила, приходила,
пуля приходила, находила...
Кто-то замер, кто-то стонет рядом.
Мраморный Христос с подбитым глазом...
Перебежка, склеп, и вновь могила.

Кладбище, где крест раскинул руки...
Пуля первая легла в противогазе,
а вторая — залегла в желудке.
Он не ел уже вторые сутки,
он не пил уже вторые сутки,
он не жил уже вторые сутки...

Пуля пятая легла под глазом.
Он лежал как крест — раскинув руки.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Лубок

Верба набухла, серебром распушилась,
празднуя теплое солнца рождение,
и странное, светлое что-то случилось
с днем таким обычным — *воскресенье*.
Не успела весна в пасху розу воткнуть,
с кулича полотенце русское снять, —
а уж дед графинчик успел кувырнуть
и нам, ребятам, по стопочке дать.
И Зинка как будто суровее стала —
меня, не то что в гостях у берез,
как чужого три раза поцеловала,
словно взрослая, холодно, нешутя.
Но вот старухи на солнце вышли,
и мчимся мы за вербой в лес.
И жутко, и радостно мне от мысли,
что правда где-то Христос воскрес!
А вечером дедка с зинкиным батей
напились и стулья стали ломать,
и било, и было грязным в распяты
святое и чистое слово — мать!
Мы с Зинкой сидели в углу и молчали,
мы не смотрели на образа,
и страшно было, когда встречали
в темном углу немые глаза.
И Зинка во двор увела меня:
"Он не воскрес... Он не любит их..."
А рядом плакали куры, клюя
скорлупки яиц цветных.

В окне был июль, не помню, какого года.

Я вошел и повесил шляпу.

Она улыбнулась мне,

нет, не шляпа, а женщина.

Она шла мне...

шла мне навстречу,

очень медленно,

очень пристально улыбаясь глазами,

где-то там, с другой стороны глазных яблок,

и ждала...

Кто же бросится первый, ну кто же?!

И тут вдруг упала она, нет, не женщина, — шляпа.

Вот растяпы — шляпных дел мастера,

или вешалка виновата,

или это моя рука,

что дрожала, ее повесив?!

Я не поднял ее, не поднял —

я все понял!

Пусть валяется старая ветошь!

Ведь она улыбалась мне.

Я протянул к ней руку,

свою единственную руку,

я сжал ее руку,

такую холодную, невозвратную,

давнюю муку...

О безволя порыв!

Или страх, или звук упавшего фетра
пробудил в ней весь пыл:

она с криком повисла на мне!

Поднялась, поднялась снова пыль

над воронкой страшного лета!

Уронил я костьль —

ведь она была замужем,

а я любил ее мужа.

Да, что делать,
я очень любил ее мужа.
Ведь когда-то давным-давно
я подарил ему запонки,
такие чудесные запонки...
О, какие давние запахи!
О, какие дивные волосы!
У меня по щекам текут ее слезы и волосы,
у меня по щекам текут ее губы без голоса...
О, какая давняя заповедь!
Память моя — твои волосы,
память твоя — мои возгласы...
Но молчал я, молчал...
И когда я нагнулся и поднял свой костыль,
и когда я нагнулся и поднял свою шляпу,
она вдруг упала.
Она обняла мой костыль
и заплакала страшно,
навзрыд.
О, моя единственная женщина!

* * *

Мне кажется, что я уснул давно.
Я сплю и вижу сон:
вот вы сидите,
и вечер на дворе, и темное окно,
и на меня вы, как в себя, глядите.
А я — луна,
и за луной темно.
Так в чем же свет?
В волнении свечи?
И в чем мое значенье?
В светлом слове
которое неуловимо, словно
на ряби моря лунные лучи?

В поля протопал босоногий ангел.
Трава легла и встала горячо.
Он поднимался медленно, кругами,
пронесся отрешенно над полями,
чуть накрывая легкое плечо.
Так травы распрямляются в воде,
тела свои расправив по теченью.
Так все полно стремления к беде
и присяганье клонит к отреченью.

ТРАВА И КАМНИ

Я истекаю стихами,
не иссякаю,
капли стекают по стенкам стакана,
камни стихают.
Вот он прошел, этот ливень,
боль моя, прав он?
Был он не правый, не левый,
как трепет, как травы.
Но прав он.
Травы, замрите, смотрите:
камни тупы и блестят, как налимы,
вот кто вас давит!
Вам моя благодарность, нивы,
вам, — не камням, не травам.
Правы и лес, и мишук, и берлога,
в окнах деревни набухшие рамы —
правы!
Правы дождливая даль, и дорога,
и фары машин,
осветившие грязь и столбы с проводами.
Прав и мальчишка, уроки в лесу
прогулявший, —
он не выучил арифметических правил,
но прав он!

Прав и покойник Сезанн в споре своем
с Налбандяном,
даже подрамником, рамой
прав он!
Да, все ночным людям не чуждо,
но как это чудно:
пахнет яичницей, вечером поздним мой ужин,
небом болдинским в лужах!
Но поздно...
Краем солнца багряного я истекаю.
Чу! Прогудел чей-то поезд над полем —
я затихаю.
Вон, за шоссе, за домами
стихом, как гудком, как дымком его, таю.
Вон, за полями, за строчкой берез стихаю.



Время говорить

(Главы из ненаписанного романа)

1. Обыватели (Москва, 1929—1931 гг.)

Настоящий роман — всегда автобиография. Даже если герой совсем не похож на автора, даже если мужчина пишет о женщине. Сюжет, внешнюю канву событий можно придумать. Мысли и чувства придумать нельзя. Чувства надо испытать, мысли — иметь. И ведь это тоже события, только события внутренней жизни. Кто решится сказать, что внешние события важнее внутренних?

И начинаться настоящий роман должен не с рождения героя (факт медицинский), а с момента, когда герой осознает мир вокруг и себя в этом мире: ту самую объективную реальность, которая дается нам не иначе, как в нашем ощущении.

В классическом романе прошлого это взаимное знакомство происходило очень рано: в год или два. Вряд ли тогда осознавали себя раньше. Просто в жизни было мало событий, и новые впечатления не рывались в память, вытесняя прежние.

То небольшое, что я вообще помню о первых пяти годах жизни, я помню смутно. Отдельные картин-

ки — размытые и не в фокусе, как у импрессионистов. Самая первая, кажется: толстый розовощекий мальчик с бантом на шее, увешанный, наподобие елки, игрушками. Конец двадцатых. У мальчика день рождения, ему три года. Стук в дверь. Вваливаются гости — целая ватага белых от снега, шумных, нарядно одетых тетя и дядя. Ловко и деловито (все подготовлено заранее) они цепляют на мальчика — пуговиц на штанишках хватает — машины и медведей, книжки с картинками и блестящие шишки, коробки и пакеты.

Все смеются. Смеется и мальчик. Он понимает, что смеются не над ним. Просто сегодня такой день, что всем весело. И это очень приятно: быть в центре общего веселья.

Обида придет потом (может быть, через час), когда его уложат в кровать, а гости сядут к столу — пить чай. Вообще-то мальчик привык спать на людях: у них большая, но одна комната. И не то обидно, что его уложили: глаза слипаются, поздно. Обидно, что, едва оказавшись за столом, гости о нем забыли. Нет, он не слышит слов, но чувствует это по тону. Тон теперь совсем другой — усталый и озабоченный. Все свое веселье гости оставили там — в огромной передней коммунальной квартиры на тридцать ответственных съемщиков. Так меняются лица, уходящих за сцену актеров: совсем не обязательно смеяться и за кулисами.

Конечно мальчик не понимает, о чем они говорят. Но, должно быть, эти разговоры повторяются постоянно, потому что много позже, когда жизнь заставит и научит его думать, вдруг окажется, что от этих разговоров в памяти что-то осталось. И даже не в одной только памяти, а глубже — может быть, в душе? Во всяком случае странно, что он не удивлялся и не ужасался тому, что происходило и во-

круг, и с ним самим — хотя естественно было бы удивляться и ужасаться. Наверно, он был подготовлен.

Не тем, что он видел: что он мог видеть? И даже не тем, что слышал. Из бесчисленных слов, что годами говорились за чайным столом, и запомнилось то всего одно — совершенно непонятное: обыватель. И все-таки что-то осталось, может быть, настроение?

Это уже потом он догадается, что милые люди, собиравшиеся у них в комнате, и были те самые обыватели. Обыватели — то есть люди, еще пытавшиеся что-то понять в мире, не разучившиеся задавать (хотя бы друг другу) вопросы о смысле происходящего. Правда, в те времена это еще не было смертельно опасно. Еще можно улыбаться, слушая завывания агитатора, горлана, главаря: "Страшнее Врангеля обывательский быт!"

А улыбаться нечему. Эпохе нужны люди, готовые делать то, что скажут: идти вперед, не оглядываясь, в уверенности, что те, кто наверху, кто указывает путь, ведут в будущее.

Нельзя сказать, что люди за столом этого не знают. Они вообще знают слишком много — в этом их несчастье. Все они из бывших, спецы, как их теперь называют. Совсем не обязательно дворяне, и вовсе не купцы или фабриканты. Скорее это народ служилый: путейцы, экономисты, администраторы. В нэпманы они не лезут — это не их мир, — они и сейчас служат: на фабриках, в магазинах, в гострестах. Делают свое, привычное дело, и делают хорошо (иначе не умеют, не обучены). Их сопротивление новой власти (для них она остается новой) только в том и выражается, что они прямо пытаются понять, чего эта власть хочет и что она делает.

Среди новых — всех этих директоров, управляющих, председателей комиссий — есть разные люди. За столом о них говорят с иронией, но и с заметным уважением. Встречаются, понятно, просто бездельники. Эти гоняют в кабинетах чай и читают газеты, размахивают руками на собраниях, кричат по телефону: "Андреич? Ага, я, Леша. Бери своего спеца и дуй ко мне. Пушай они тут разбираются в этих бумагах, а мы посидим, выпьем по маленькой, вспомним молодость". Есть и просто дорвавшиеся. Эти рвут что придется: деньги, баб, карандаши со своего стола, гвозди на складе. Все, что они недополучили в той жизни.

Но потихоньку происходит нечто вроде естественного отбора. И братишки, и любители карандашей и баб куда-то исчезают. По слухам: идут на повышение. Остаются другие — молчаливые, с тяжелыми лбами и тугими скулами. Знаний у них маловато, университетов они не кончали. Но зато есть у них бычье упорство, нерастроченная энергия: в дела своих трестов, фабрик и торгов они вгрызаются зубами. И если сначала шутники объясняли им, что красное сальдо — это сорт чернил, то потом шутить становится опасно. Память у этих людей цепкая, как капкан, а знания они вбирают в себя, как губка — прямо из воздуха.

Любить этих людей трудно, но уважать — да. У них есть хватка — качество, которое в коммерческих делах стоит многого, и здравый смысл, помогающий ориентироваться в чужом и по-прежнему чуждом для них мире.

В общем с ними можно было бы работать, если бы они были только начальниками, управляющими, директорами. Однако они еще и партийцы — состояние, обывателю непонятное. Они заседают в райкомах и обкомах, а время от времени их вызывают

в большой дом на площади. Оттуда они возвращаются угрюмые, еще более молчаливые, с лихорадочным блеском в глазах. Глядя куда-то вверх, они отдают приказы: странные приказы, противоречащие всему, чему они вроде бы научились. Возражать бесполезно. Глаза у них делаются стеклянными. Указания, которые они получают там, обсуждению не подлежат: эти указания бесконечно важнее знаний, опыта, самого здравого смысла.

Вначале это бывало не часто. "Сегодня на моего нашло", — говорил кто-то у нас за столом и рассказывал нечто такое, от чего остальные морщились и пожимали плечами. Потом удивляться перестали. Конечно, все, что происходило, было сумасшествием, но в сумасшествии была своя система.

Советская экономика похожа на клубок ниток, с которым долго играли резвые котята: гоняли туда и сюда, вылизывали, рвали когтями. От этого концы основной нити клубка слиплись, сваялись, зато появилось много новых концов, которые никуда не ведут: потянешь — обрыв. Все мы, пытающиеся разобраться в этом клубке, тянем свои нити. Государственная собственность на орудия и средства производства. Отсутствие свободного рынка и конкуренции. Административная система управления. Техническая невозможность руководить из одного центра огромным, бесконечно сложным хозяйством. Некомпетентность, неопытность, волюнтаризм...

Все так. И наверно (хотя нашему линейному сознанию трудно с этим примириться) нет у клубка того конца, потянув за который можно его размотать. Уж очень много котят трудились над тем, чтобы его запутать. Идеология, политика, амбиции вождей, интересы правящего класса. Все это началось сразу после революции, продолжается и сей-

час. Но больше других порезвился котенок с унылым и длинным именем Индустриализация. Интересно, что девочек так называли, а вот котят — никогда.

Как и все, я сначала учил "Краткий курс" по обязанности. А потом перечитывал снова и снова, пытаюсь понять логику верховного вождя: ведь в действиях людоеда тоже есть логика. Глава X "Партия большевиков в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926—1929 годы)". "После XIV съезда партия развернула борьбу за проведение в жизнь генеральной установки Советской власти..."

В чем состояла эта генеральная установка? Если верить автору, именно в индустриализации. Во-первых, в модернизации техники на старых заводах и фабриках. Во-вторых, в создании новых отраслей промышленности. В-третьих, в преимущественном развитии тяжелой индустрии. И все это надлежало сделать "в исторически короткий период".

С последним обстоятельством принято связывать многое: издержки и недоделки, репрессии и голод. Колесо истории торопилось, ему было не до отдельных человеческих судеб. Благо страны, благо народа — вот, что вращало его механизм.

Техника в самом деле обновлялась, новые предприятия строились, крен в сторону тяжелой промышленности ощущался вполне явственно. Но если говорить именно о генеральной установке, то она выражалась совсем не в индустриализации. Ее суть, ее генеральный смысл состояли в том, чтобы превратить нормальную экономику страны в экономику политическую — в такую, которая полностью отвечала бы интересам правящего класса: обслуживала его, способствовала закреплению и расширению его власти внутри страны и посте-

пенному распространению ее на оставшиеся пять шестых земной суши.

Можно допустить (благо допустить можно все: воображение позволяет), что в процессе реализации этой генеральной установки удалось бы решить и какие-то второстепенные задачи: например, повысить благосостояние народа. Но это был бы именно случайный, побочный эффект. (В жаркий день быстрая езда на автомобиле охлаждает. Однако ездим мы не ради встречного ветра.)

Впрочем, допущение это — чисто теоретическое. На практике ничего подобного не произошло, а по здравом размышлении понимаешь, что и не могло произойти, ибо политическая экономика разрушала те естественные нити, которые связывали человека с производством. Уровень жизни снижался. Это ухудшение — сначала медленное, заметное только специалистам, — приобрело затем лавинный характер. И самое замечательное, что ничего неожиданного в таком развитии событий не было. Творцы индустриализации его предвидели и заранее к нему подготовились. Тому есть много свидетельств. Вот одно: в 1926 году начальник ОГПУ Дзержинский подписал секретный приказ о немедленном возвращении на службу сотрудников органов, ранее уволенных в запас...

Впрочем, карательных мер было недостаточно, ведь новый курс должен был затронуть интересы основной массы людей. Требовалась еще и идеология, способная объяснить этим самым людям, почему модернизация оборудования и рост выплавки стали сопровождаются исчезновением тканей в магазинах или ухудшением качества колбасы. Требовались злые волшебники, способные превращать уголь в золу, принцесс в дурнушек, живую воду в мертвую. И они были найдены: враги народа.

Их было бесконечно много, этих врагов: агенты империализма, троцкисты, зиновьевцы. Недаром тов. Сталин предупреждал, что "создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена до Троцкого". Однако Чемберлен и даже Троцкий были далеко, простому человеку нелегко было уловить глубинную связь между провокационным налетом на "Аркос" в Англии и нехваткой масла в Саратове. Нужны были свои, родные враги — такие же будничные и каждодневные, как нехватки, которые мы испытывали.

Кто бы это мог быть? Спецы, конечно. Кому, как не им, было сподручно гноить хлеб, засыпать песок в буксы паровозов, доставлявших народу масло, "вести неправильную разработку шахт". На этом, последнем обвинении построено Шахтинское дело — первое в бесконечном ряду дел о порчах, обвалах, взрывах, поджогах. "Центральный Комитет, — как сказано в "Кратком курсе", — предложил всем партийным организациям извлечь уроки из Шахтинского дела". Страна должна была знать своих врагов.

Да, в первый свой день постижения мира я обижался зря. Над теми, кто пришел поздравить меня с трехлетием, кто дарил мне игрушки и смеялся, уже нависло Шахтинское дело. Со многими из шахтинских инженеров они были знакомы лично. Но и без знакомства они понимали, что специалист не станет портить машины и взрывать электростанции — это противоречит смыслу профессии. Однако еще страшнее было обвинение в том, что "враги народа сознательно задерживали улучшение материального положения рабочих". Это был уже следующий этап. Не только материализация духов, но и их трансформация: превращение противников власти во врагов народа. Нетрудно было предви-

деть, какие уроки из этого дела извлекут партийные организации.

Я не запомнил дня, когда папу арестовали. Мне, конечно, ничего не сказали. Папа просто уехал — отдыхать или в командировку. Но что-то такое произошло, это я понял. Теперь гости приходили к нам не раз в неделю, а ежедневно, так что в доме был сплошной праздник.

Странная вещь память. Я не мог слышать их разговоров (они говорили тихо), да и не вслушивался. Но через много лет, читая речи известных адвокатов, я обнаружил, что две фамилии мне знакомы и даже чем-то близки лично: Коммодов и Брауде. Коммодов был председателем московской коллегии адвокатов, и как раз с ним вели переговоры папины друзья. А Брауде был тот адвокат, который папу защищал. И защищал так, что в зале аплодировали, хотя судебными правилами это категорически запрещалось.

А вот и еще одно близкое имя — Землячка. Землячка выступала на процессе обвинителем — наверно, поэтому переговоры с председателем коллегии были такими длительными и трудными. Мало того, Землячка была председателем РКИ, всемогущей рабоче-крестьянской инспекции. Она заняла этот пост после Сталина — обстоятельство, которое людям понимающим о чем-то говорило.

Обвинение было уже по тем временам не очень оригинальное: вредительство, порча продуктов. Качество продуктов и в самом деле резко ухудшилось, люди ворчали. Ясно, что советская власть не могла быть в этом виновата. Значит, виноват был кто-то другой.

И вот Брауде решился защищать вредителя. И защищать против кого? Против Землячки. Мало

того: процесс он выиграл, суд папу оправдал. Зал устроил овацию. И судья, суровый украинец, лишь усмехался в свои запорожские усы.

Был тридцатый год — тогда все это было еще возможно. Суд еще сохранял какую-то связь с правосудием, хотя и именовался орудием подавления в руках господствующего класса. Пройдет совсем немного времени, и в официальный обиход войдет доктрина тов. Сталина: "Диктатура есть законом неограниченное насилие..."

Впрочем, уже тогда опытные люди качали головами и советовали папе исчезнуть. Говорили, что Землячка и советская власть не простят поражения. Просто не могут простить: не такая это власть. Папа улыбался: он твердо знал, что по одному обвинению человека нельзя судить дважды.

Его и не судили. Его просто арестовали у дома ночью, когда он вместе с мамой возвращался из театра. Месяца через два маме объявили под расписку решение ОСО (Особого совещания): экономическая контрреволюция, пять лет. Многоопытный Брауде развел руками. Особое совещание — орган не судебный, оправдательным приговором суда он не связан. И доказательства вины ему, собственно, не нужны. Да и какие могут быть доказательства по такому общему обвинению, как экономическая контрреволюция? "Это же не статья уголовного кодекса, а ругательство, — сказал маме Брауде. — Ну, такое, как негодяй или жулик. Конечно, попробуем обжаловать. Но — сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Времена настают тяжкие. Не поверите, но я впервые перестал жалеть, что старею".

Прошло несколько месяцев, и коллегия, адвокаты, жалобы исчезли из нашей жизни. Изменили другие слова: "Долинка", "расконвоированный", "зона". Брат только родился, но сомнений у мамы

не было: надо ехать. Праздник продолжался: снова каждый вечер у нас собирались гости. Листали какие-то карты, железнодорожные справочники. Оказалось, что Долинка — это Казахстан, около Караганды. Денег у нас не было: имущество конфисковали. Один из папиных друзей выложил на стол толстую пачку денег: "взаймы". Мама покраснела, но не спорила. Дорога предстояла дальняя. Сначала в Баку, к родителям — оставить брата, потом снова в Москву, а уже оттуда в Караганду. Советские философы правы: сознание людей отстаёт от их бытия.

2. Кольцо (Караганда, 1932—1933 гг.)

Айнс, цвай, драй, фир... Я учу немецкий. То есть не учу, я вообще ничего не учу, просто на ходу схватываю слова, которые произносят наши хозяева. Их семья живет тут бесчисленное число лет ("со времен матушки Екатерины"), и они почему-то очень этим гордятся. Не передо мной, конечно, а перед другими немцами: ссыльными, кулаками, которых привезли сюда совсем недавно в кирпичного цвета вагонах, теплушках.

Эти слова — "ссыльные", "кулаки" — хозяйева всегда произносят по-русски. А вообще-то, даже со мной, говорят по-немецки, хотя русский, конечно, знают. Позже мне объясняли, что это был ужасный немецкий, "фольксдойч", и если бы я его выучил, то все интеллигентные немцы надо мной посмеивались бы. А я непременно его выучил бы: в детстве память у меня была "как губка".

Но этого не произошло: вмешался голод. Тот голод тридцать третьего года, о котором до сих пор спорят, был ли он естественным следствием кол-

лективизации или Сталин вызвал его искусственно, чтобы усмирить непокорных крестьян.

Не знаю, как было на самом деле, но жили мы в городе. Помню, что голода я не ощутил. Просто вдруг перестал запоминать простые немецкие слова. Наверное, хлеба нам вначале хватало, не было лишь мелочей: сахара, фосфора, витаминов.

А получилось вот что. Не знаю, какую опасность усмотрели в нашем приезде власти, но, едва мы приехали, отца снова законвоировали, а затем этапировали в Сибирь. Даже я понимал, что Сибирь слишком велика, чтобы туда можно было просто так ехать, что нужен адрес. Прошло несколько месяцев, прежде чем отец сообщил его нам. К тому времени деньги кончились и начался голод. Мы попали в ловушку.

Я всегда с особым ощущением читаю те страницы "Робинзона Крузо", где описывается, что он нашел на затонувшем корабле и что выбросили на берег волны. Наш баланс был проще: 130 рублей — зарплата машинистки (стучать на машинке мама научилась в благодатные годы военного коммунизма) и пачка зеленого чая, которую выдавали на работе. Буханка хлеба (2 кг.) стоила 60 рублей, еще буханку мы выменивали на чай у казахов. Итого 6 килограммов хлеба. В месяце, как известно, тридцать дней, и нас было двое. Выходило 100 граммов в день на человека.

Сначала меня подкармливали хозяева. Видимо, за те полтора столетия, что семья жила в этих краях, они сумели что-то скопить. Но с доходами у них тоже было плохо: забегая к ним, я видел, что их просторный дом пустеет. Они были странные люди. За нашу хибарку мама платила им десять рублей в месяц — так договорились с самого начала. Может быть, в тридцать втором году, это были день-

ги. Однако уже через несколько месяцев это было почти ничего. Но о повышении квартплаты хозяева не желали слушать: договор дороже денег. И каких-то приезжих кулаков они подкармливали. Презирали, но подкармливали. Иначе нельзя, Бог не велит.

В то же время при сдаче хибарки нам поставили жесткие условия. Например, мама, уходя на работу, не имела права отдавать мне ключ ("ребенок обязательно потеряет"), а тем паче оставлять меня в незапертой квартире ("ребенок кому хочешь откроет"). Так что у меня было на выбор две возможности: гулять до маминого возвращения или сидеть в запертой квартире. Я выбрал первую. Сидеть в запертой квартире было нестерпимо скучно. Вышивки на стенах: дородная фрау с младенцем, две толстых девочки с бантиками, экипаж, запряженный упитанными лошадьми, я давно знал наизусть. Кстати, именно из-за этих вышивок хозяева так боялись воров. Вышивки были дороги как память.

Спорить было бессмысленно. Ворам не нужны вышивки? Усмешка и пожатие плеч. Вышивки можно убрать? Усмешка и презрительный взгляд: они висят здесь восемьдесят семь лет. Мама отступила. Я стал уличным.

Сейчас уже много написано о голодовках. Мне и самому случалось голодать много позднее в Лефортово. Поэтому все мы знаем, как оно бывает: на третий день... на пятый... Но когда у человека есть выбор, голодать очень трудно.

У меня выбора не было. Шесть тысяч граммов, деленные на шестьдесят человеко-дней, всегда сто, а воровать я не умел. Да и негде было. Сначала я видел, как дохли лошади — каркас костей, обтянутых кожей, — падали и не вставали. Потом падали и не вставали люди. Тут смерть была не так нагляд-

на: каркас костей под одеждой не виден, а худобы я не замечал. Толстые люди встречались только на вышивках.

Поскольку выбора у меня не было, я скоро привык к голоду. Или не привык, а стал воспринимать его, как обычное, нормальное состояние. Потом мне рассказывали, что в Москве — еще до того, как началась индустриализация, — я не желал есть клубнику и шоколад. Если это и было, то забылось мгновенно. На моей памяти все люди всегда ели хлеб: мокрый, черный, удивительно вкусный. И отличались люди друг от друга только количеством хлеба, которое им удавалось съесть. Нормальные ели сто грамм, богачи и капиталисты — килограмм и даже больше.

В уличную компанию меня приняли легко: мне не было шести лет, и я был самым младшим. Компания собиралась у дровяного склада — сидела и валялась на досках. Говорили мало. Просто смотрели на улицу. Никто никогда ничего не жевал, но старшие иногда покуривали.

Однажды самый старший — звали его Сергей, и он мне покровительствовал — что-то сунул в мой карман, пробормотав: — Посмотришь дома. — Дома мы с мамой долго рассматривали цилиндрики в цветной бумаге. — Конфеты, — сказала мама шопотом. — Откуда это у тебя? — Я не ответил.

А через несколько дней Сергей исчез. По секрету мне рассказали (откуда-то уже было известно, что я не болтлив) страшную историю. Будто Сергей и другие взрослые ограбили Торгсин. Кого-то замели, он выдал остальных, и всю компанию расстреляли. Так я впервые услышал о Торгсине — замечательной организации, которой я обязан всем лучшим (а также всем худшим) в себе. Торгсин спас мне жизнь.

Мы умирали. В этом не было ничего драматического. И не только потому, что умирали все. Естественным был сам процесс: если нет дождей, река высыхает. А дождей не то, что не было, их и не могло быть. Это в двадцать первом году мир волновался и бил в большие колокола: в России голод! В тридцать третьем мир с придыханием следил за великим экспериментом, аплодировал и посылал деньги, машины, своих лучших людей в помощь строителям нового общества. В обществе всеобщего изобилия не было места голодным. И они умирали.

Не думаю, что кто-то из нас понимал, что мы обречены исторически. Но все происходило так просто и буднично, что умирание стало естественным состоянием человека. Наверно, тогда я и растерял добрую часть инстинкта самосохранения, выданного нам природой для продолжения вида.

Мне было легко, у меня не было работы. Все, что от меня требовалось — дотащить до дровяного склада и улечься на досках. После истории с Сергеем наша компания рассосалась: кого-то арестовали, кто-то умер. Мне было все равно, я спал.

Тяжело было маме. Ей каждый день полагалось ходить на работу. Вряд ли она в самом деле работала — это было бы уже слишком. Но прийти надо было обязательно, иначе нам нечем будет жить: исчезнет главное содержание нашей жизни — утренний и вечерний кипяток с хлебом. Это был неторопливый, торжественный, до мелочей продуманный церемониал. Белоснежная скатерть, чистейший лист бумаги. Старый, но острый нож, который потом протирался специальной тряпочкой. Тончайшие, до прозрачности, листочки хлеба. Чуть желтоватый, заправленный травами, обжигающий рот чай.

И на закуску самое вкусное — крошки. Их всегда набиралось много.

Мама давно почти не могла ходить, даже по комнате она двигалась, держась за предметы. Но лишиться себя (а главное меня) этого двойного праздника, этого пиршества, этого кипения страстей она не могла. И когда однажды по пути на работу мама упала и какой-то чудом оказавшийся рядом казах привез ее домой на подводе с кирпичами, она сказала себе: все, хватит! На следующий день я увидел нечто такое, что не поддается описанию — большой белый мешок и огромную оранжевую бутылку. В мешке была белая мука — крупчатка, в бутылке — подсолнечное масло.

Это и был Торгсин. Удивительное учреждение, которое не только раздавало гражданам эти неземные сокровища, но и само их развозило — под охраной двух здоровенных милиционеров с наганами. И грянул пир!

Скорее всего, начался он осторожно: с небольших порций мучного супа — болтанки. Но этого я не помню. А помню ни с чем не сравнимый запах жареного теста, черновато-румяные от огня лепешки, хрустящие на зубах. Масло скоро кончилось. Однако без него стало еще лучше. Мама жарила лепешки на воде. Оказалось, что если смазывать сковородку водой, лепешки почти не подгорают.

Правда, и цена этого богатства была невероятная, просто немислимая цена. Мама отнесла в Торгсин единственное, что у нас было, — ее обручальное кольцо. Все, понятно, зависит от восприятия. Для мамы с кольцом было связано все: замужество, ожидание, уверенность в том, что муж вернется. Я не ношу кольца: для меня это просто кольцо. Не знаю, кто из нас прав. Факт тот, что как-то ночью раздался стук в дверь — приехал папа.

Но так ли уж все тут очевидно? ”О фактах не спорят, — сказал, усмехаясь в усы, величайший гений всех времен и народов, — но об освещении фактов можно и должно спорить”. Так вот, не потому ли отец вернулся, что мама берегла кольцо до последней возможности и отдала только в обмен на жизнь?

В наш рациональный век люди разучились верить в чудеса. А ведь это было самым настоящим чудом: папу освободили досрочно, по системе зачетов. Началось строительство БАМа — некогда знаменитого, а ныне прочно забытого Второго пути. Вторая колея, связывающая Иркутск с Владивостоком, имела (это проявилось в годы войны) огромное стратегическое значение. Можно только догадываться о той великой битве идей, которая происходила в голове отца народов. На одну чашу весов была брошена внутренняя безопасность, на другую — внешняя. Производительность труда зависит от заинтересованности, учил отец-основоположник. Этот отвратительный феодализм потому и пришел на смену лучезарному рабовладельческому строю, что смог предложить работнику хоть какое-то подобие стимулов. Впрочем, задолго до классика эту истину постиг восточный мудрец, поместивший перед мордой осла морковку.

Отец приехал за нами. Теперь он был свободным человеком и мог привезти семью. Важнее, однако, что он был должностным лицом и в этом качестве сумел получить пропуск на выезд семьи из Казахстана: просто так из зоны голода не выпускали.

В лагере отец был на общих работах. Но едва он освободился, в управлении вспомнили, что экономическая контрреволюция — лишь вторая его специальность, а есть и первая. Ничего необычного. Лет через тридцать из книги Павла Кондратьевича

Ощепкова, отца советского радара, я узнал, что с ним произошла примерно та же история. В тридцатые годы его, руководителя радиотехнической лаборатории в Горьком, посадили по обвинению в шпионаже. Выжил он случайно: только потому, что академик Иоффе регулярно слал ему посылки: иногда с шоколадом, чаще — с сухарями. Отсидев от звонка до звонка положенные десять лет, шпион освободился и вернулся к своей прежней работе — заведовать секретной лабораторией.

3. Орден Льва и Солнца (Баку, 1936—1937 гг.)

Я живу в Баку, в семье папиного брата. Хотя сам дядя занимает скромнейшую должность бухгалтера, мое положение очень почетно. Я брат своего двоюродного брата — лучшего ученика лучшей в городе Третьей образцовой интернациональной школы. И хотя сам я учусь плохо (мне все интересно в этом большом городе, кроме школы), меня прощают. Во-первых, я — брат. Во-вторых, что с меня взять, если приехал я из совершенно диких мест, из Сибири. — Представляете, как там учат! — объясняет тетя моим учителям. Те беспомощно разводят руками: они, учителя лучшей в городе (а, может быть, и в мире) Третьей интернациональной даже вообразить себе этот кошмар не в состоянии.

В Баку меня привело несчастье. Папа и несколько сослуживцев ехали по срочному делу в "пионерке" — так называется легкая открытая дрезина. У дрезины, конечно, не бывает расписания, поэтому тот, кто ею пользуется, предварительно выясняет расписание поездов. Однако в этот раз случилась накладка. Выскочив из-за поворота, люди в "пио-

нерке увидели мчащийся им навстречу курьерский — Транссибирский экспресс.

Выход был один: тормозить сразу и резко. Произошло то, что и должно было произойти, — ”пионерка” перевернулась. Пострадали все, и папа тяжелее других — его ударило головой о рельс. У него хватило сил (или ужаса перед столкновением) встать и помочь остальным стащить с путей дрезину. Но в больницу его привезли уже без сознания. Спасти могла только трепанация черепа.

Делал ее хирург с мировым именем, приговоренный к расстрелу по первому делу врачей. Потом расстрел заменили десятью годами. Он по-прежнему был заключенным, и, по приговору, его полагалось использовать только на тяжелых физических работах. Но начальник БАМа, всесильный Френкель, мог позволить себе плевать на приговор. Заключенный хирург работал в лучшей больнице и считался даже чем-то вроде заведующего отделением. То есть по обычной табели о рангах он был ниже вольной уборщицы, но, когда он оперировал, перед ним тряслись военврачи с ромбами в петлице.

После операции папе дали направление в институт Бурденко и шестимесячную путевку в Сухуми. Сопровождать его должна была мама. И сразу же встал вопрос, что делать со мной. Я и без того учился неважно — сказывался голод и бесконечные переезды (БАМ двигался с запада на восток), а тут получилось, что мне дважды за год придется менять школу. В конце концов решили, что по пути в Сухуми меня завезут в Баку, к кому-то из родственников, и оставят там до конца следующего учебного года.

В Москве знаменитый Бурденко осматривал папу долго и придирчиво. Папа забеспокоился:

— Чтонибудь не так?

Бурденко усмехнулся.

— Так. И очень даже так. Можете не говорить, кто вас оперировал, я вижу. А вот привет и мое поздравление передайте. Завидую. Работа ювелирная.

Дядя — человек молчаливый, мрачный с трудным характером. Он поразительно обидчив. Бедная тетя не всегда даже понимает, на что он обиделся. Выражается обида в том, что дядя вообще перестает разговаривать. И с ней, и с моим гениальным братом. Конечно, сразу же возникают проблемы: какой-то минимум коммуникаций в семье необходим. Тогда-то и обнаруживается, что я источник не только хлопот и раздражения (почти взрослый мальчик в двух тесных комнатах коммунальной квартиры), но и единственное средство связи. — Знаешь, — за обедом сообщает мне дядя, — в этом месяце зарплата у нас задерживается. — Придется опять брать в долг у Еськиных, — со вздохом жалуется мне тетя. — А они дают не очень охотно.

Именно со мной — неслыханная честь — дядя играет в нарды. Нарды у него замечательные: большая, орехового дерева, доска и тяжелые костяные шашки — красные и белые. Я не знаю, сколько они стоят, но чувствую, что вещь ценная. Может быть, единственная ценная вещь во всей квартире.

Играю я плохо, но это не имеет значения. Важно, что у дяди есть занятие и есть собеседник, человек, с которым можно говорить почти свободно. Никому другому — даже жене, даже сыну — дядя не доверяет: болтливы. А на дворе тридцать седьмой год. Разумеется, и со мной он говорит обиняками. Однако я на удивление много понимаю. Например, понимаю, что его скромнейшая должность — не от бесталанности. Это жизненная позиция. — Все ходим под Богом, — вздыхает дядя. Но мне ясно: у незаметного бухгалтера в незаметной конторе больше

шансов подольше походить под Богом, чем, например, у инженера.

Инженер — мой дядя со стороны матери, муж ее сестры. Я бываю у них в гостях раз в неделю, и мне там все интересно. Огромный пятиэтажный дом, большой двор в зелени, изолированные квартиры. Это — Дом специалистов, и построен он совсем недавно. Мой дядя — нефтяник, второй заместитель управляющего трестом "Каганович-нефть". Иногда он достает с полки роскошную толстую книгу с рисунками машин и с гордостью мне ее демонстрирует. Это проспекты нефтяного оборудования; проспекты, которые американские фирмы ежегодно присылают ему, "одному из руководителей советского нефтяного бизнеса", и хотя дядя никогда ничего не заказывал ("Ха-ха, — смеется он. — Попробовал бы я...") проспекты продолжают аккуратно поступать.

В семье два сына, мои двоюродные братья. Както, борясь со старшим в передней, я опрокидываю его на небольшой узел, скромно приткнувшийся в углу. На пол летят сухари, полотенце, мыло. Брат объясняет: "Это для папы, когда его арестуют".

Однажды меня оставили ночевать, и я стал свидетелем репетиции. Часов в девять вечера позвонили. Дядя медленно поднялся, обвел туманным взглядом комнату и рывком кинулся к двери. За ним метнулась тетя, подхватила одной рукой узел, другой обняла его за шею. Оба брата — и мой ровесник, и младший — застыли, упершись глазами в дверь. Дядя спросил глухо: — Кто там? — Оказалось, знакомые.

Немая сцена их не удивила. Даже я знал обстановку в доме и вокруг. Дядя, как я уже говорил, был вторым заместителем управляющего. Самого

управляющего, главного инженера треста, первого и третьего заместителей арестовали; посадили и соседа, жившего на той же площадке в квартире напротив, а равно и тех, кто жил в квартирах над дядей и под ним.

В "эпоху разоблачения культа личности", когда дядя уже преподавал в институте, его почти ежедневно вызывали следователи. Им нужен был материал для посмертной реабилитации. Дядя чувствовал себя вдвойне неловко: и перед институтом (лекции постоянно срывались), и перед следователями. Ему казалось, что на него смотрят с подозрением. Как так — почему его не посадили?

— Я и сам не понимаю, — жаловался он мне. — Конечно, биография: сын бедняка-крестьянина, родители неграмотные. Учился на медные деньги. В техническое училище поступил случайно: попался на глаза доброму человеку. Опять же в партии не состоял: всю жизнь держался подальше от них и от их поганых дел. — Ну и что, — перебил он себя, — разве это объяснение? Лотерея, чистая теория вероятностей...

Другим родственным домом, где я бывал, был дом бабушки. Дед к тому времени умер (нам сообщили об этом в Караганду, но я забыл), с бабушкой жили брат матери и мой собственный брат — тот, которого мама ребенком оставила в Баку.

В первый же свой приход я спросил: — Где дедушка? — Мне объяснили, что он умер и, кажется, слегка обиделись, что я этого не помню. Но я имел в виду не самого дедушку (он и в первый мой приезд болел, и меня пустили к нему лишь однажды), а большой его портрет, висевший на самом видном месте в столовой. На портрете дедушка был молод, носил молодцеватые усы, а главное — у него

был орден. Я тогда и вообще мало видел орденов, а такой — никогда.

Недоразумение выяснилось быстро, но мой прямой вопрос о портрете заставил бабушку побледнеть. — Неужели ты его помнишь? — Конечно, помню. — Нет, не дедушку, орден. — Очень хорошо помню!

— Вот что, — вмешался дядя, — ты уже большой мальчик и должен понимать. Никому не говори про этот орден, иначе у всех у нас могут быть неприятности, понимаешь?

Конечно, я понимал. Я приехал из тех мест, где люди делились на две категории. Те, у кого были неприятности. И те, кто их причинял. Впрочем, четкой границы не существовало. Некоторые из тех, кому причиняли, со временем сами начинали причинять. К "бывшим" относился и сам всемогущий начальник Главбамстроя и Бамлага Френкель. С другой стороны, никто из причинявших не знал, к какой категории он будет принадлежать завтра. "Лагерь" — было главное слово на всем пространстве от Иркутска до Великого, или Тихого, океана.

Ничего этого я не сказал, я просто кивнул и снова повторил вопрос об ордене. Старшие переглянулись и неохотно объяснили, что орден иранский, "Льва и Солнца". В тысяча восемьсот каком-то году дедушка жил в Иране, а поскольку он одинаково хорошо знал фарси и русский, то шах назначил его своим личным переводчиком. То ли одного этого было достаточно, то ли дедушка и в самом деле переводил замечательно, но шах пожаловал ему этот орден. Уже в тридцать втором году держать на стене беспорное доказательство связей с иностранной царствующей особой было небезопасно. Но в тридцать седьмом это было бы безумием.

Дядя вовсе не был трусом. Однако сумасшедшим он тоже не был. Портрет сожгли.

До Баку я никогда не думал о национальностях. Интернациональная школа заставила меня задуматься. В ней были представлены (примерно в равной пропорции) русские, армяне, евреи и турки. Все мы занимались, конечно, по-русски, но зачем-то должны были учить и турецкий.

С этим турецким у меня были вечные проблемы. Мало того, что я не имел о нем никакого представления — я еще и не понимал, зачем это. Мне он определенно был не нужен — я скоро уеду, а учить "вообще"?..

— Ты же знаешь, что мы живем в Азербайджане, — объясняет мне тетя.

— Ну, знаю.

— А в Азербайджане живут турки, это их страна.

— Не страна, а союзная республика, — поправляет осторожный дядя.

— Тогда почему они называются турками? — лениво возражаю я. — В Англии — англичане, во Франции — французы...

— А в Германии — немцы, — резонно возражает тетя. — Турки — это национальность, и язык у них турецкий.

— Ни национальности такой нет, ни языка, — встревает мой всезнающий брат. — Турецкие языки — общее название группы родственных языков.

— Тогда почему же?.. — удивляется тетя.

— А потому, что назвать их турками боязно. Турция слишком близко.

— Так... договорились, — зловеще роняет дядя и демонстративно уходит к себе. Мы переглядываемся: месячное молчание обеспечено.

Проблему решает лучший друг всех национальностей. Кажется в 1938 году на декаде азербайджанской литературы.

жанского искусства в Москве он объявил, что никаких тюрок отныне нет, есть азербайджанцы. И говорят они по-азербайджански.

Через два года, когда мы переедем в Баку окончательно, я уже буду учить азербайджанский. К тому времени первоначальный, арабский алфавит будут помнить только специалисты. Впрочем, и латинский, на котором учили нас, в тридцать девятом году заменят русским. Потом вернут в алфавит некоторые латинизированные буквы. Кончится тем, что целые поколения людей разучатся писать грамотно. Это и будет с гордостью называться ленинской национальной политикой.

Самое сильное мое впечатление от Баку — базар. Невероятное сочетание красок, теснота, лязг металла, гортанные выкрики, клубы дыма и пара над жаровнями, где жарятся каштаны. Но удивительнее всего — изобилие. Кажется, один этот базар может накормить весь город; да что там город — всю страну.

В Сибири мы не нуждались. Были карточки, был паек, который полагался отцу. Случалось мне видеть и базар: двух-трех женщин, которые торговали вареными яйцами. И в Баку прилавки магазинов не ломались от яств. Хлеб, колбаса, сыр... Страна жила бедно. Только недавно она справилась с трудностями, вызванными яростным сопротивлением кулаков, нэпманов, буржуазных специалистов, троцкистско-зиновьевско-бухаринской оппозиции, перешла на прогрессивную колхозную систему — прямой путь к коммунизму. Все успехи были впереди. И вдруг: базар!

— Частник, — сказал мне брат равнодушно.

Не то, чтобы он не хотел отвечать на вопросы, просто ему было скучно. Все понятно. Коллективизация, ну и что? Это же Азербайджан, где полным-

полно глухих сел, до которых коллективизация не добралась. Остались свои участки, виноградники, стада баранов. Понятно, работают. Земля, климат южный. Везут на базар, продают. Не гноить же. Магазины? Ну, пустоватые, государство бедное. Прогрессивное колхозное хозяйство только набирает силу. Частник? Частник работает. В колхозах? Наверное, в колхозах пока работают плохо. Ломка психологии. И вообще, чего я привязался?! Главное, что голода у нас в стране не было и нет.

Был? Брат снисходительно усмехнулся. Я учился в пятом классе, он кончал школу. И конечно, знал неизмеримо больше меня. Голод был в двадцать первом году, в Поволжье: мировая война, революция, гражданская, интервенты. Но это было задолго до моего рождения, даже он это время не помнит. А в тридцать третьем ничего такого не было, это он знает точно. Не надо повторять вредные слухи. Все это домыслы наших врагов. Вот увидишь, через пару лет в магазинах будет всего полно, а базары умрут. Своей, естественной смертью.

Поразительно, что не только я, но и он запомнил этот разговор. В тридцать девятом, когда мы переехали в Баку, положение действительно было другим. Нет, базары не умерли, но они притихли: потеряли яркость, непосредственность, свой неповторимый восточный колорит. А магазины, напротив, приосанились. В них можно было купить и осетрину, и черную икру. А уж о масле или там мясе и говорить нечего. В Доме специалистов, где (за неимением собственной квартиры) мы тогда жили, был большой магазин — "Бакалея". Каждое утро тетя спускалась в этот магазин и покупала сто граммов масла — она, видите ли, привыкла, чтобы масло было свежим.

Вот тогда-то, в одно из нечастых посещений

моего прежнего дома, брат напомнил мне старый разговор. "Теперь ты убедился, что я был кругом прав?" — сказал он. Крыть было нечем — я кивнул. Однако сомнения у меня остались.

Продуктов и в самом деле хватало. А вот квартир не было. Ни снять, ни купить квартиру папе не удавалось, и мы жили у тети. Стесняли их и маялись сами: две семьи, восемь человек — слишком много даже для трех просторных комнат. И, что еще хуже, нас не прописывали. То есть давали временную прописку — на три месяца. С этой пропиской было трудно купить квартиру и устроиться на работу; без работы и квартиры нельзя было получить прописку. Заколдованный круг. К тому же мешала папина судимость. Конечно, при досрочном освобождении ее сняли. Но во всех анкетах почему-то остался вопрос: "Были ли вы осуждены? По какой статье? На какой срок?" И хотя формально папа мог ответить отрицательно (хотя бы потому, что Особое совещание — не суд), он был достаточно опытен, чтобы не обольщаться формальностями.

А потом началась война с Финляндией. Начали ее, понятно, финны. Они вознамерились создать Великую Финляндию от Балтийского моря до Урала. К тому времени я достаточно знал географию, чтобы удивиться — во всей Финляндии было меньше жителей, чем в одном Ленинграде. Но это вопрос особый. Я же вспомнил историю только потому, что она имеет прямое отношение к первой в моей жизни экономической дискуссии.

Едва началась война на севере, как на юге, в Баку, пропало масло. Конечно, исчезло не только оно, но почему-то в моем сознании именно пропажа масла прочно связана с этой далекой войной. Будь я моложе, я решил бы, что масло потребовалось

для смазки пушек. Но я уже знал, что для орудий существует другое масло.

Все-таки немного масла осталось. Его давали в той же "Бакалее" с восьми утра, и надо было занять очередь пораньше — иначе оно могло кончиться. Теперь за маслом ходили тетя и мама, потому что "в одни руки" давали не больше 500 граммов. Вставали они в пять, надо было попасть в первую сотню. С пяти до восьми очередь тосковала в подъездах, прилегающих к магазину, — иначе милиционеры ее разгоняли. Нельзя было допустить, чтобы финские шпионы пронюхали, что у нас не все хорошо, и использовали это обстоятельство в своей пропаганде. Через много лет тот же инстинкт побудит другого вождя упорно скрывать катастрофу в Чернобыле.

— Что ты скажешь теперь? — спросил я брата при очередной встрече.

Он понял сразу, но отмахнулся.

— Временные трудности...

Он уже кончал институт, и перед ним открывались безбрежные инженерные горизонты. Конечно, в тяжелой промышленности, ибо кто же не знал, что не сливочное масло, а чугун, сталь, уголь и нефть определяют будущее страны...

Все это, однако, будет потом, когда мы переедем в Баку. А тогда (это был конец тридцать седьмого года) за мной заехала мама, и мы отправились домой в Сибирь, где нет ни образцовых школ, ни национальных проблем, ни таких базаров. Правда, и узелков с сухарями там не держали. Во-первых, сажали там реже (дальше Сибири не пошлешь). Во-вторых, люди там были опытнее; они знали: на долгий лагерный век никаких сухарей не напасешься.

4. Андрей Петрович (1951—1954 гг.)

Сразу же вынесем за скобки то, что читателю известно о лагерях вообще и об особых лагерях в частности. Овчарки. Вертухаи. Шмоны. Номера. "Молитва" дневного конвоя: "Шаг влево, шаг вправо..." Ночную переключку попок на вышках: "Пост по охране врагов народа, шпионов, террористов, поджигателей новой войны сдал", "Пост по охране... принял".

Что останется? Останется многое. Советское общество в разрезе. Экономика, психология. Типичный человек в нетипичных (а может быть, и типичных) обстоятельствах.

"Прежде чем решать, кто прав, выслушаем обе стороны", — учили древние юристы. Мы, пригнанные в пятьдесят первом году в Песчанлаг, наивно полагали, что особые лагеря изобретены специально, чтобы отравить жизнь нам. Между тем наши проблемы — все эти запирающиеся на ночь бараки, номера, два письма в год — не шли ни в какое сравнение с теми великими, философского значения проблемами, которые поставили особые лагеря перед их творцами. Вряд ли я ошибусь, предположив, что государственные мужи, вплоть до самого Вождя, часами ломали голову в тиши ночных кабинетов. Надо было решить задачу, принципиально не имевшую решения. Как добиться, чтобы люди, лишённые стимулов к труду, работали производительно?

Печальный опыт истории учил, что это невозможно. Твердолобым римским патрициям пришлось уступить, сделав рабов вольноотпущенниками. Туповатые помещики тоже постепенно усвоили, что оброк выгоднее барщины. Даже Он, в чьем имени

звенела булатная сталь, в тридцатые годы уступил: БАМ стоил зачетов.

Теперь, однако, он не намерен был уступать. Война была страшным бедствием для страны и народа: миллионы людей получили возможность увидеть другой мир. Увидеть и сравнить. Идеалисты до сих пор спорят, как должно было завершиться это сравнение, ведь все в этом мире относительно. Но он, материалист, как никто другой знавший созданный им мир, в результатах не сомневался. Всех, кто видел и мог сравнить, необходимо было изолировать. Жесточайший санитарный кордон — единственное средство от чумы. Максимальные сроки, никаких зачетов, питание — за нижним пределом нормы выживания.

А производительность? Он рычал: "Заставить!" И сам в глубине души чувствовал, что заставить не удастся. Нужны были другие, более тонкие методы. Что ж, он не возражает: сталь тоже гнется. Но главное требование — полной изоляции — неизменно. Должно быть, он усмехался в усы: любопытно, какую морковку в этих обстоятельствах изобретут специалисты-психологи по млекопитающим чело-веческой породы.

Этап был большой, тысячный. Нас загнали в два барака, огражденных колючей проволокой. Это была небольшая зона внутри большой — пересылки огромного Песчаного лагеря. Какое-то время (кажется, месяц) нам не полагалось ходить на работу и общаться со старожилками: карантин. Но правила соблюдались плохо. Для лагерного начальства мы были даровой рабочей силой, для оперчасти — материалом, подлежащим обработке.

Каналов связи было сколько угодно. Разговоры через проволоку, товарообменные операции, неофициальные визиты туда и сюда. Постепенно общая си-

туация прояснялась. Нам объяснили, что пересылка (выполняющая по совместительству функции обычного лагеря) — лучшее место на земле или, по крайней мере, в Песчанлаге. Тут и Караганда рядом (все-го-то через проволоку), и порядки строгие, но справедливые, и работа под крышей — на строительных объектах. В других же лагпунктах такая жизнь, что страшно рассказывать: шахты с обвалами, произвол нарядчиков, блатных и сук, у новичков отбирают последнюю пайку.

Конечно, остаться на пересылке не просто. Но — возможно. Собственно, возможностей всего две. Человеку с хорошей ручной специальностью (скажем, плотнику) надо самому проситься на работу и вкалывать. Интеллекту — дать в лапу нарядчику и попасть в лагерную обслугу. Придурком? Ха-ха! А что такое придурок? Умный человек при дураках.

Была еще, правда, третья возможность, но о ней порядочные люди упоминали глухо: понравиться начальству. Какому и чем? Ну, хотя бы начальнику производства; человек, между прочим, приятный и вполне интеллигентный. Да и оперуполномоченный — никакой не садист, а известный поэт. Конечно, печатается он под псевдонимом.

Мы, сидевшие на Рузаевской пересылке в одной камере, держимся вместе. Лагерного опыта нет ни у кого, но зато есть множество "параш", слухов. Нужны монтеры. Самое лучшее заявить, что ты изобретатель и оформить любую заявку — хоть на вечный двигатель. Неплохо и написать что-нибудь такое, патриотическое. В большой зоне, перед зданием клуба, висела стенгазета. Этаким местный "Крокодил". Зека Сидоров в рабочее время два часа загорал на крыше; зека Бабаев нарочно сломал лопату; бригадир, зека Амбарцумов вписал в наряд

очистку территории от снега, хотя никакого снега не было. Куда смотрит администрация?..

Опытные люди нам втолковывают нехитрые лагерные истины. Скажем, такую. День канта — год жизни. Если, к примеру, тебя вызовут и спросят, можешь ли ты танцевать в Большом театре, отвечай одним духом: конечно, могу. Пока тебя привезут в Москву, сошьют эти пачки, начнут репетировать, ты будешь отъедаться. А там, если на сцене чего и не так, скажешь: "Извините, гражданин начальник, не вышло. Должно, отвык, потерял квалификацию. Но вы же сами видели: старался".

Мой сосед по теплушке (это знакомство рангом ниже камерного, но все же), Петрас Петрасович рассказывает. Вывели их (разумеется, незаконно — карантин не кончился) на стройку. Выстроили. Подходит мальчишка-десятник: "Электрики, шаг вперед!" Петрас не успел и глазом моргнуть, как остался в строю один. Десятник смеется: "Латыш? Небось из деревни?" — "Из Риги". — "Где работал?" — "На радиозаводе". — "Полы подметал?" — "Нет, был начальником цеха на ВЭФе". — "Чего ж ты, дурак, стоишь?" — "Я не электрик, я радиотехник".

Начали работать. Через час зашел прораб: "Что ты такое творишь?" — "Проводку". — "Что за проводка?" — "Обыкновенная, скрытая". — "А-а-а". К концу дня появился старший прораб. На следующий день — начальник управления. Потом приходили какие-то совсем важные начальники. Стояли, смотрели. "А чего смотреть? — удивлялся Петрас Петрасович. — Обыкновенный латышский электрик взглянул бы на такую работу и сказал бы: "ТЬфу!" Потом бедный Петрас вообще перестал что-либо понимать. На машине с отдельным конвоем его возили с одной квартиры на другую. Достоин-

ства скрытой проводки оценило высокое начальство.

У меня таких талантов нет. Пять курсов нефтяного института здесь ничего не стоят. Нефть в Карагандинской области не добывается, а уж в квартирах — тем более. При этом я (как и многие другие) проявляю непонятную пассивность — никто из нас к нарядчику не обращается. Вероятно, на этом уровне (на большее мы не тянули) и было решено дать нам предметный урок на тему о местах, где зимуют раки. Всех "интеллигентов" из нового этапа сбили в одну бригаду и отправили на каменный карьер.

Описывать, что это такое, я не буду: в расчете на догадливость читателя. Тут, интересен, пожалуй, лишь энергетический баланс организма. Часовой расход энергии при такой работе 400—500 килокалорий в час, суточный приход от питания (теоретический) — 1000—1200 калорий. Рабочий день — 12 часов. Через неделю старый (с рузаевских времен) знакомый М. меня не узнал.

Я нарочно не называю его полную фамилию. Это была известная в Польше и Прибалтике семья, чье богатство отлично уживалось с коммунистическими идеалами. Богатство помогло М. получить диплом инженера в Брюсселе, где, по слухам, был специальный институт для богатых бездельников; идеалы — стать министром стройматериалов в одной из советских республик. О строительстве и строительных материалах он знал заметно меньше меня (мы в институте все-таки сдавали курс "Основы строительного дела"), так что его вполне устроила бы скромная должность в зоне. В результате короткой беседы с нарядчиком он ее получил и хотел по-дружески поделиться со мной опытом. Тем более, что теперь у меня было некоторое представление о реальности, а время истекало. По секрету он

сообщил, что готовится этап в страшное место — Дубовку. Я сказал, что подумаю.

Через час о этапе нам объявил нарядчик. Почему-то тут же стали известны имена тех, кого ждет эта страшная участь. Среди них вся наша "интеллигенция". Возникла импровизированная дискуссия: куда бежать, кому давать, на какие жать рычаги. И тут незаметного вида человек сказал спокойно: "По-моему, все это лишнее. Мы приехали сюда отбывать срок. Довольно долгий — двадцать пять лет. Я не хочу устраиваться, я хочу отсиживать свой срок. Здесь, или в Дубовке, или на Колыме — мне безразлично. Тем более, что четверть века на одном месте не просидишь".

И сразу все стало просто. Немногие остались (потом, как анекдот, рассказывали, что когда умер "Ус", многие на этой пересылке плакали), большинство ушло в этап. Кстати, ничего страшного в Дубовке не оказалось. Обычный лагерь, обычная шахта. Хотя нет, шахта не совсем обычная — одна из крупнейших в Караганде, объект государственного значения. И строительное, и лагерное начальство знало, что такой объект пахнет либо орденами, либо сроками. А потому оба начальства проявляли трогательное единодушие. Строители приписывали нам объемы (за это полагалась лишняя пайка и каша "от пуза"), руководство лагеря приписок не замечало и режимом не увлекалось. Особой изобретательностью по части положительных стимулов лагерные психологи не блистали, но точно знали, что раздражение — стимул отрицательный.

Я даже пожалел, когда угодил в очередной этап — на Октас. И, наверно, зря. Основоположник еще только снисходительно махнул стальной дланью ("Ладно, вводите свои материальные стимулы"), а на Октасе уже работали безличнейший ла-

рек (зарплата минус расходы на "содержание", включавшие, понятно, и охрану) и коммерческая столовая. Там мы долго, с интересом, который и не снился Колумбу, рассматривали неведомую землю: суп, где плавала вермишель и прозрачные кружочки жира. К режиму тут тоже не придирались. Требовали от тебя, в сущности, немного: выполнять норму.

Нас разбили по уже существовавшим бригадам. Я попал на Старый кирпичный завод. Он назывался так в отличие от Нового. На том я не был, а на этом кирпич надо было руками вынимать из неостывшей печи, грузить спецрукавицами (из автомобильного корда) на тачку, вывозить во двор и укладывать там в изящные штабеля. Температура у печи была 110° , во дворе — минус 20° . Но оригинальнее всего была норма. Я не помню, сколько полагалось вывезти — десять или тридцать тысяч штук. Однако помню, что ни один мужчина норму не выполнял.

Говорили, что у женщин (они работали в другую смену, и мы иногда видели их издали; для многих это было дополнительным стимулом) было несколько таких рекордсменок: постоянная тема для нехитрых мужских острот.

Начальники оценивали ситуацию трезво. Нормы от них не зависели, а в остальном они старались. Что-то списывали — на бой, утряску и усушку. А главное, бригадам. Старого кирпичного деньги шли на счет и при невыполнении норм. Очень здоровый, очень крепкий, очень опытный и очень заинтересованный в коммерческой столовой человек мог выработать тот минимум, который давал деньги, а значит и право пользоваться столовой.

На третий или четвертый день ко мне подошел бригадир и четко обрисовал обстановку. — Посылок у нас никто не получает, — угрюмо сказал он. — На

одной баланде при такой работе не проживешь. Решай, будешь вкалывать, тянуть хотя бы процентов на семьдесят, оставайся. Нет — уходи, не сбивай показатели. — Я подумал и сказал, что не буду. — Что делать, знаешь? — Знаю.

На следующий день я объявил на вахте, что на работу не иду. В карцере холодно, в печке жарко. Я больше люблю прохладу. Местная интеллигенция, принявшая меня как своего, заволновалась: "Это бросит тень на всех нас!" Через заключенного врача мне устроили больничный лист, потом еще один. Но это было бессмысленно: весь срок на больничном не высидишь.

В карцере и состоялось одно из самых интересных моих знакомств — с человеком, которого я назову Андреем Петровичем. Не то, чтобы Андрей Петрович был личностью выдающейся. Но он был классическим продуктом своей эпохи, продуктом, свободным от всяких примесей, кристально чистым, рафинированным. Химики подтвердят: в земных условиях такие продукты (нечто вроде метеоритного железа) встречаются крайне редко.

Я вошел в камеру в тот момент, когда Андрей Петрович читал стихи Гумилева. Окладистая борода, седые волосы, какая-то особая, плавно текущая манера чтения. Я сразу понял: священник. Мне приходилось встречать священников в лагере. Я относился к ним с почтением: абсолютно бескорыстные люди, которые делились последним. Но священников, которые так свободно читали бы целыми страницами малоизвестные стихи Гумилева, я не встречал.

Выждав, когда стихотворный цикл кончится, я спросил:

— Простите, батюшка, откуда вы так блестяще знаете Гумилева?

— Я вам не батюшка! — Маленькие острые глазки больно кольнули меня.

— А кто? — не понял я.

— Коммунист.

— А... Я разозлился. — Ясно! Трудовые армии, перманентная революция..!

— Всю жизнь я боролся с троцкизмом.

— Час от часу не легче! Надо же такое выдумать: вращение кулака в социализм.

— Я не имею ничего общего с бухаринской оппозицией.

— Но, простите, кто же вы?

— Твердый сталинец.

— М-да... Тогда почему вы оказались по эту, а не по ту сторону проволоки?

— Обстоятельства.

Уже на следующий день пути наши разошлись. Твердого сталинца (имени его я не запомнил) выпустили из карцера, а меня отправили на другой, куда менее образцовый лагпункт.

Мы снова встретились и даже подружились уже в Сибири, на строительстве образцового комсомольско-молодежного комплекса — Омской ТЭЦ-3.

Был июль 1953 года. В марте черная тарелка у лагерной столовой объявила о болезни и смерти человека, которого начальник лагеря вполне серьезно назвал лучшим другом заключенных. Позже тарелка поведала невероятную историю об органах, которые, оказывается, использовали в своей деятельности методы, строжайше запрещенные советским законом. В июне, когда наш этап по пути в Омск застрял в Петропавловске, усатый железнодорожник мелом вывел на теплушке напротив: "Арестован Берия". Наконец, крестьянскому парню, которому кто-то накатал очередную жалобу,

полную катушку заменили пятью годами с переводом в бытовой лагерь.

Никогда, ни раньше, ни позже, я не видел такого количества оптимистов, такого водопада надежд. Нищий мальчишка-чистильщик, выигравший в лотерее миллион, показался бы рядом с нами мизантропом. Переход от тьмы к свету был слишком резок, разрыв в уровнях — слишком велик. Срок 25 лет сам по себе оставлял мало надежд. Но и это не предел. Жизни уже не будет. По крайней мере до тех пор, пока будет жить человек, недавно сменивший вредную для здоровья трубку на легкие папиросы "Герцеговина Флор". Человек этот вечен. Для него придворные врачи изобретают содовые ванны и превращают бактерии в вирусы.

Мы знали людей, кончивших срок и сразу же расписавшихся за второй: Особое совещание бдило. Читали письма тех, кому повезло и кто попал в ссылку, — у них не было даже гарантированной пайки! У каждого на памяти были старички, начавшие сидеть в 1918-м: сейчас они тянули, кто четвертый, а кто пятый срок.

Не то, чтобы мы поверили в освобождение. Такого разврата опытный лагерник себе никогда не позволит. Но сплошная черная стена впереди превратилась в серовато-розовый туман. Сквозь туман ничего нельзя было разглядеть, но непроницаемость и составляла его главную силу. В этом зыбком мареве можно было увидеть все: встречу с девушкой, которую ты любил в девятом классе, с женой, которая не отвечает на письма, наверно, потому, что сменила адрес; гениальные изобретения, великие романы; книги, которые ты мечтал прочесть; комья земли у дома, ощущения которых сохранили кончики пальцев.

И потому все, что происходило здесь, по эту сто-

рону завесы, волновало нас на удивление мало. Мы едва заметили, что в наш первый рабочий день зона пустует: ни одного вольного. Сквозь проволоку (забора еще не было) мы с вялым любопытством наблюдали за людьми в рабочих комбинезонах. Они вели себя странно: сбивались в группы, яростно жестикулировали, обнимались с женщинами. В середине дня пришли первые машины с шоферами. Грубоватые ребята ходили осторожно, как индейцы Фенимора Купера, и были вежливы, как дипломаты старой школы. К концу дня мы вместе хохотали. Оказалось, весь Омск уже знал, кто мы и почему носим номера. Подобной чести удостоен лишь тот, на чьем счету никак не меньше десяти трупов.

Нашу бригаду ткнули копать траншеи. Мы и копали потихоньку, в промежутках валяясь на солнце, благо лопата — инструмент пассивный и ничего такого от тебя не требует. Еще мы лениво пикировались с соседями на тему о том, чья работа лучше. Они грузят на машины строительный мусор. Грузить надо быстро, но зато, когда машина уходит, можно кантоваться на законном основании. Среди мусорщиков вижу знакомую бороду. Твердый сталинец тоже здесь.

И тут кто-то передал, что меня вызывают в про-
рабскую. В обшарпанной комнате навстречу мне поднимается огромной толщины человек в линялой гимнастерке с погонами инженерного капитана.

— Мне нужен помощник, — начал он без предисловий и принялся дотошно выпрашивать, кто я, что кончил и что знаю. Я без энтузиазма объяснил, что ничего не кончил и мало знаю. Забрали меня с пятого курса нефтяного института.

— Хоть экономике вас учили?

— Курс "Экономика и организация производства", — вспомнил я.

- Все вместе часов за сорок?
- Примерно.
- А что такое форма номер два знаете?
- И формы номер один не знаю.
- Ничего, научитесь. Согласны?

Я по инерции соглашаюсь, хотя чувства у меня смешанные. С одной стороны, работа инженерная, оклад фантастический — тысяча рублей в месяц (старых, конечно). С другой: зачем мне все это в такое время? Люди загорают, рассказывают сны, спорят о том, что эти сны означают. А тут сиди, заполняй какую-то нелепую форму.

Мне не очень часто везло в жизни. Но в тот раз определенно повезло. Те несколько месяцев, что существовал отдельный участок коммуникаций, стали для меня школой. Капитан научил меня многому — в том числе разбираться в той причудливой мешанине цифр, инструкций и форм, которая в СССР называется конкретной экономикой.

И еще мы разговаривали. Обычно на бегу: ни сидеть, ни просто ходить капитан не умел. Так выяснилось, что он тяжело болел ("перечислять не стоит: долго и скучно"), что лечили его голодом ("два месяца полного голода в московском институте курортологии") и потерял он в весе двадцать килограммов.

— Сколько же вы весили до того?

— О-го-го!

Мои, достаточно откровенные оценки окружающего, капитан выслушивал спокойно. Лишь когда я произносил нечто, прямо подпадающее под действие статьи 58-10, он замечал:

— Ладно, займемся делом. А вообще вы преувеличиваете.

Когда участок ликвидировали, капитан позаботился о моей судьбе. Сам обо всем договорился с

начальником другого участка. Это был молодой и толковый инженер, которого звали Виктором. Представляя меня, капитан заметил: "Работать умеет, но как и вы, Виктор, заядлый спорщик. Учтите это оба — и избегайте".

К этому времени относится и моя дружба с Андреем Петровичем, а проще — "Бородой". Кое-что он о себе рассказал, хотя о своем прошлом вспоминал мало и неохотно.

В партию вступил в двадцать четвертом. "Большевик ленинского призыва", — прокомментировал он. — Помните: "Пройдут лишь месяцы, сто тысяч партбилетов..."

— Плохой поэт, — поморщился я.

— Плохой, — согласился он спокойно. — Но зато по существу верно.

В тридцатые годы Андрей Петрович руководил крупной стройкой. Не из самых больших, но достаточно серьезной. Тогда-то с ним и случилась эта история. Приехал в командировку в Питер. Зашел по делам в райком и там жестоко поспорил с первым секретарем. Мало того, что обругал, еще и закатил пощечину. Секретаря скоро посадили (был тридцать седьмой год), но еще до того Андрея Петровича исключили из партии.

— Правильно исключили, — одобрил он. — Тип, конечно, мерзавец, но ведь первый секретарь райкома!

Поскольку же его исключили, он, естественно, "лишился доверия". Ссылка до войны, ссылка — во время, ссылка — после. А там и посадили: антисоветская пропаганда.

— Неужели вы что-то такое сказали?

— Ну, нет. Но ведь меня исключили из партии, отправили в ссылку: я вполне мог испытывать недовольство.

— И что?

— Как что?! По-вашему недовольного можно оставлять на свободе?! Особенно в наши дни, когда международная обстановка накалена до предела, когда американский империализм развязал войну в Корее...

— Кто развязал войну в Корее — вопрос особый. Но причем тут вы, если даже по советским законам вы не совершили преступления?

— Не обижайтесь, но это философия обывателя.

— А ваша?

— Коммуниста!

Из-за этого Андрея Петровича и испортились у меня отношения с Виктором. У "Бороды" было много свободного времени, так что иногда он забежал ко мне в контору обменяться новостями, почитать стихи.

Виктор его заметил и как-то спросил ехидно:

— Ваш друг, понятно, батюшка?

— Нет, — возразил я с удовольствием. — Коммунист, как и вы.

— Да... Интересно. А кто он по-специальности?

— Строитель. Был начальником какой-то крупной стройки на Урале.

— А кем он сейчас работает?

— Ассенизатором.

Ничего унижительного в этой работе не было. Андрею Петровичу многие в лагере завидовали: сам себе хозяин. И получил он эту должность только благодаря бороде, она его очень старила. Однако Виктор мгновенно налился кровью. Он усмотрел в моем ответе издевательство, подрыв "основ".

— Почему же вы меня не предупредили? — Голос его звенел от возмущения. — Вас не волнует, что ваш друг используется... э... не по-специальности, вы рады, ведь он коммунист!

— Что вы? — растерялся я. — Я даже как-то его спрашивал...

— А он? Он отказался?!

— Нет, он промолчал.

— Ладно, хватит! Попросите вашего друга зайти ко мне. Мы предоставим ему работу, соответствующую его знаниям и способностям.

В перерыве я поймал Андрея Петровича и пересказал ему этот разговор. Он должен понять, что ставит меня в идиотское положение. Не хватает только, чтобы этот кретин Виктор намотал мне антисоветскую деятельность. Положим, саботаж!

— Но вы же мне предлагали, — смутился Борода. — Я что... я ни на что такое не претендую. Я вполне доволен своим положением.

— Объясните это Виктору.

— Хорошо. Только сначала я объясню вам. Понимаете, я по специальности не строитель, я даже размеров кирпича не знаю.

— А как вы руководили стройкой?

— Чудак-человек, — он снисходительно усмехнулся. — У меня был главный инженер.

— Кто же руководил: вы или он?

— Конечно, я. Он занимался технической частью.

— Чем же занимались вы?

— Я его контролировал.

— Не зная размеров кирпича?

— Причем тут кирпич? — он тоже начал злиться. — У меня было нечто большее.

— Что?

— Идейная убежденность. Большевистская непримиримость к недостаткам. Наконец, интуиция, нюх.

— Нюх — это да... По части нюха вы все специалисты. И часто вам случалось отменять решения главного инженера?

— Случалось. Он вообще был тип подозрительный. Из бывших.

— Не по этой ли причине в омских магазинах и сейчас ни шиша нет?

— Откуда вы это знаете? — прищурился Андрей Петрович.

— От вольных.

— А вы уверены, что среди них нет провокаторов, сеющих вредные слухи?

— Среди кого? Среди людей, осужденных на 25 лет?!

— Вот именно. Чтобы вызвать массовое недовольство. Знаете, в случае войны...

— А вы полагаете, нас еще надо агитировать, что в случае войны...

— Не наговаривайте на себя, — оборвал он жестко. И в его взгляде промелькнуло что-то такое, что я замолчал.

Потом, когда мне объявили об отмене решения Особого совещания, везли на допрос, в камере вдруг перестали вызывать на допросы, я вспоминал этот разговор и ругал себя последними словами. Но я ошибся. Андрей Петрович не был доносчиком. Он был всего лишь кристально честным коммунистом. А может быть, он понял, что времена изменились. Или не поверил мне. Не поверил — это скорее всего.

*5. Ради нескольких строчек в газете
(Баку, 1954—1980 гг.)*

Странный человек наш редактор. Он долго не брал на работу опытного и толкового журналиста. Заметил, что у того на пальце обручальное кольцо. "С этим кольцом он и будет ездить по промыслам?"

С трудом убедили, что будет, теперь и с кольцом можно.

Со мной было проще: колец я не ношу и вообще "от станка". Ну, не от токарного, положим. Но все-таки инженер, работал на заводе, в нефтяной промышленности. Журналистом стал случайно. Это хорошо.

А куда мне было деться после лагеря? — только на завод. Слишком рано меня выпустили: в пятьдесят четвертом. Формально реабилитировали, но с моим "хвостом" — три пункта всем известной 58-й — даже в институте боялись восстанавливать. С заводом же просто. Знакомый главный инженер позвонил на десяток предприятий. На девяти сказали: давайте. Но уже на первом мне предложили должность старшего технолога цеха. Вспомнив лагерную мораль, я нагло согласился.

Знакомый неодобрительно поцокал языком. — Продешевили. Надо было объехать все девять. — Но на что я мог претендовать без диплома? На должность главного инженера? — Нет, но все-таки. Работа ведь собачья.

Очень скоро я понял, с чего это мне так повезло. Вставал я в пять, возвращался в девять. Это в обычные дни. А в конце месяца — в два ночи. И оклад у меня был тот же самый, лагерный — тысяча рублей. За охрану, одежду, и пайку, правда, не вычитали, но зато вычитали налоги, заем, взносы в профсоюз. Оставалось 75 рублей. Это больше, чем в лагере, но кормежка и одежда за свой счет, а охраной и вовсе не обеспечивали. И работа не в пример хуже: бесконечная, тупая, злая.

Принимая меня, главный инженер буркнул:

— Называться вы будете старшим технологом цеха. Но пусть это вас не смущает. Ваше дело — новая техника. Тут мы горим.

Он коротко объяснил обстановку. Кто-то сболтнул, а газеты раструбили, что завод освоил производство новых буровых вышек.

— Теперь никуда не денешься, — вздохнул главный. — Придется осваивать. Начальник цеха — кстати, мужик хороший — будет вам, понятно, мешать. А вы толкайте потихонечку, у него за спиной. Не стесняйтесь, командуйте. Как никак вы второе лицо в цехе, старший технолог!

Смешное совпадение. До лагеря я занимался "новой техникой" с другой стороны. Изобретал, писал заявки, получал авторские свидетельства. И никак не мог понять, почему мои изобретения никто не внедряет. Прямо слышать о них не хотят.

Здесь, в цеху, я это понял. Цех — примитивная мастерская прошлого века с редкими вкраплениями современных машин — гнал план. Тут все было нелепо: сам план — устаревшие вышки; расшатанное, дышащее на ладан оборудование; пьяные рабочие. Первые крупницы сырья (материалов и поковок), из которого предстояло делать продукцию, поступали в десятых числах — до этого рабочие отсыпались за прошлый месяц, инженеры тоскливо бродили по цеху, а в последний день снабженцы бодро рапортовали, что цех полностью обеспечен материалами. Тут-то и начинался аврал.

Я со своей новой техникой был миссионером, проповедующим в пустыне вегетарианство. На меня не обижались, мне сочувствовали, даже старались помочь. Однако все было как в дурном сне: чертежи не сходились, размеры не совпадали, на телеграфные запросы московский проектный институт не отвечал, оборудование не тянуло, вместо положенных комплектующих изделий поступали другие, не желавшие комплектоваться. Но самое главное: моя экспериментальная вышка была не

нужна цеху. Цеховой план измерялся в миллионах, вышка стоила тысячи. Капля в море.

Когда в конце концов вышку сделали, состоялось узкое совещание. Главный инженер московского проекта (вполне уважаемый человек, кто бы мог подумать, что он сотворил все это безобразие) обратился к директору:

— Я хочу задать вопрос тому, кто непосредственно делал вышку. Как вы думаете, конструкцию удастся собрать, и она будет работать?

Директор и главный инженер принялись мне подмигивать. Я прямо слышал подсказку: "Мы — люди маленькие. Все зависит от вас. Если вы правильно спроектировали..." Но я ответил прямо: — Думаю, будет. — И оказался прав: новая техника была такой же примитивной, как старая, она не могла не работать.

А вот со следующим образцом вышел конфуз. В этот раз институт выдал нам проект новой, невиданной А-образной (двуногой) вышки. Проект был цельностянутый — у американцев: за проект они запросили слишком дорого. Я полистал чертежи. При высоте 52 метра допуск на отклонение ног от центра $\pm 0,5$ миллиметра. Такой допуск мы не выдерживали при сверловке 30-миллиметровых отверстий...

Все-таки вышку сделали. Грохнулась она потом, при испытании. Слава Богу, никто не пострадал. Опытные специалисты (меня к тому времени перевели в другой цех) тем и отличаются от неопытных, что умеют предвидеть результат.

Боюсь, я отвлекся и утомил читателя техническими подробностями. Но за этой мелкой историей просматривается другая, из сферы большой экономики. Козырная карта советского экспорта — нефть, она дает свыше 60 процентов всей твердой

валюты. Нефть позволяет советскому руководству манипулировать и хозяйством братских стран. И вдруг, года три назад, добыча нефти в СССР стремительно покатилась вниз. Незадолго до выезда я попал на завод, с которого начинал. Он почти не изменился. Это не мешало газетам именовать его одним из флагманов советского нефтяного машиностроения...

Когда-то верили, что мысль распространяется мгновенно, быстрее света. Теперь мы знаем, что это неверно: скорость распространения нервных импульсов несоизмерима со скоростью света. Но думаем мы, конечно, быстрее, чем читаем или пишем. Вот я и успеваю вспомнить эти истории в те считанные минуты, что редактор беседует с новым сотрудником, объясняя ему главные направления его работы в промышленном отделе. Первое: новая техника...

Из множества историй, с которыми потом свела меня работа журналиста, я расскажу одну, замечательную своей примитивностью. Мастер и двое рабочих кожевенного завода сварганили установку для получения из обрезков кожи некоего продукта. Именно сварганили: взяли старый котел, что-то там наварили и прикрутили. А получилась установка, дающая продукт, который страна покупала за границей. Директор тут же рапорядился установку сломать.

— Зачем мне твои миллионы-биллионы, — объяснил он мастеру. — Пятьдесят рублей у меня в кармане — это я понимаю. А ты мне миллион... — Зачем мне эта установка? — спросил у меня министр. — Завтра заставят внедрить ее на всех заводах, включают продукцию в план, дополнительных штатов не дадут, скажут: мобилизуй внутренние ресурсы. У меня же и без того голова пухнет.

Нет, до тех пор, пока я министр, из этого дела ничего не выйдет.

И не вышло.

Мелочь, конечно. Деталь. Однако любопытная. Особенно, если вспомнить заголовки в газетах: "Научно-технический прогресс — ключевое звено политики партии".

— ... Бесхозяйственность, — редактор методически загибает второй палец. — Партия и правительство... Новая советская интеллигенция... И тем не менее имеют место отдельные...

Ко мне приходит (ну, понятно, приезжает) заместитель председателя Госплана. Мы немного знакомы: я бывал на заводе, где он раньше был директором. Он хочет, чтобы я помог ему написать статью. О чем? Понятно о бесхозяйственности.

— Отдельные случаи?.. Какие там случаи, — морщится он. — Сплошная бесхозяйственность.

Он замечает мою улыбку и успокаивается. Примеры? Сколько угодно. Недавно, например, купили за триста тысяч золотом вышку для сверхглубокого бурения. Ну, на шесть, восемь и больше километров. Представляете, исчезла. Сам объехал все промысла. Еле нашел. Бурят на два километра. На два — и лопатой можно.

Хотите еще? Ради Бога. Мы заказали в Венгрии завод по переработке водоплавающей птицы. Цена миллион. Привезли оборудование, смонтировали. Тут, знаете, я взял и прикинул. Задача на деление, на уровне седьмого класса. Разделил все поголовье этой птицы в республике на дневную производительность завода. Сколько, вы думаете, получилось? Два дня. Значит, два дня завод проработает, а потом остановится и будет ждать, пока вырастет следующее поколение гусей и уток.

Я их спрашиваю: кто считал? кто заказывал?

Концов, понятно, не найдешь. Но мне говорят: зря волнуетесь. Специалисты исходили из планов развития отрасли за пятилетку, а планы, к сожалению, не выполнены. Ладно, беру план, считаю. Выходит неделя.

Продать? Пробовал. Некому. В Союзе нет республики, которая могла бы насытить этот завод. Да, честно говоря, — только вы об этом не пишете, — и продавать уже нечего, растащили. "Эх, по винтикам, по кирпичикам..."

Я торопливо записываю и говорю, что дня через три статья будет готова. А про себя думаю, что республике повезло. Наконец-то, у нас появился демократ (сам приехал), специалист, хозяин. Договариваемся, что когда статья будет готова, я позвоню.

— Только звоните по вертушке, — предупреждает он.

— У меня нет вертушки.

Демократ слегка смущен, но быстро находит решение.

— А вы позвоните от редактора. Скажите, я просил.

— Это не совсем ловко. Редактор работает, а я врываюсь в кабинет звонить. Но почему нельзя по обычному телефону?

— Можно... — Он мнется. — Только секретарша не соединит. Скажет, меня нет или занят.

— А вы предупредите.

— Я предупрежу. Но, думаю, не поможет. Привыкла.

Мнусь и краснею, объясняя ситуацию редактору. Редактор не понимает:

— Что тут особенного? Конечно, звоните. Даже если меня не будет. Я скажу, чтобы вам открыли мой кабинет.

Но это будет потом. А пока редактор загибает третий палец: — Качество.

Через несколько лет по заданию уже другой газеты, центральной, я еду в Ленинград, где произошло ЧП. Завод, выпускающий эмалированную посуду, отправил партию посуды в детский сад. Дети отравились. Получился скандал. Кого-то судили, дали чепуху. Всю историю деликатно спустили на тормозах.

Директор завода (его даже не сняли) держится нагло. Ему не о чем со мной разговаривать. Посуда обычная, все из нее едят. И ничего. Может, детям нужна какая-то особенная, из царского сервиза, но это не его дело.

Возвращаюсь в Москву, иду в Прокуратуру СССР. Меня обещал принять первый заместитель Генерального. Он занят, надо подождать. Прошу пока дать мне данные о числе дел по статье 152 УК РСФСР — "Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции".

Мой собеседник отводит глаза. Конечно, он может подготовить, данные есть. Но зачем? В печать они не попадут — вмешается Главлит. Вот если первый разрешит...

Первый не разрешает, он категорически против. Причем тут прокуратура, причем экономика? Вопрос совести: я, например, честный человек и делаю хорошие ведра. А вы, например, рвач — и делаете кривые.

Пробую объяснить, что сделать кривое ведро быстрее и проще. Бубню привычные слова: план, нормы, расценки... Глаза у первого пустые, без выражения. Постепенно я начинаю что-то понимать. Кривым ведром ему не придется пользоваться; в детский сад, куда возят его внуков, посуда того завода не попадет. А прочие граждане обойдутся: и

кривым ведром, и туфлями, которые разваливаются в руках, и телевизором, где изображение исполняет пляску святого Витта. Вспоминаю факт, который привел мне недавно скромный человек из Госплана: в СССР за все годы существования советской власти не было сделано (или, по крайней мере, внедрено) ни одного значительного изобретения в сфере легкой или пищевой промышленности.

— А качеством в военной промышленности прокуратура занимается? — неожиданно для себя спрашиваю я.

Лицо первого мгновенно меняется. Зрачки сужены. Ленивый и добродушный дяденька теперь похож на того начальника следственного отдела, что кричал моему следователю:

— Хватит вам разговоры разговаривать! Бить эту вражину! Бить! Бить! Бить!

Но времена все-таки другие, и представляю я почтенную газету, где и он сам иногда балуется. Поэтому первый растягивает рот в улыбке.

— Занимаемся, хотя и не часто. Там и без нас есть кому наблюдать. Да и каждый понимает, чем это пахнет: обороноспособность! — Тяжелый кулак опускается на стол. На побелевшей коже руки отчетливо проступают веснушки.

— Наконец, производительность труда, — заканчивает редактор. — Помните, что сказал Владимир Ильич?

Что сказал Ильич, я помню. Но я помню и то, что он сделал. А сделал он много интересного. Фактически отменил деньги. Запретил торговлю. Ввел продразверстку — узаконенный грабеж крестьянского хлеба. А потом удивлялся: с чего это рабочие бегут с заводов и фабрик? С чего это крестьяне не хотят дать нам хлеб взаймы? Чистый был человек, святой...

Через несколько лет, тоже в Ленинграде, я попал на совещание, где выступал генеральный директор одного крупного объединения. На удивление живой и думающий, он упрямо пытался плыть против течения (не зря его скоро сняли). Он рассказал историю о том, как на двух заводах, нашем и западно-германском, проводился эксперимент. Выбрали средних рабочих — токарей, фрезеровщиков, строгальщиков, дали им одинаковые станки, инструменты, заготовки. Через неделю подвели итоги. Производительность оказалась практически одинаковой. У наших — чуть выше.

— О чем это свидетельствует? — спросил директор. — Очевидно, о том, что если производительность труда у нас ниже, а она ниже, много ниже, то виноваты в этом не рабочие, а мы с вами, товарищи. Рабочий-то от своей производительности зависит — ему семью кормить надо; и капиталист зависит — при плохой работе недолго и разориться. А вот мы, товарищи, не зависим, будто на всю жизнь поставлены.

В отношении самого себя он ошибся. Но в отношении класса — нет. Класса, положение которого ни от чего не зависит: ни от состояния экономики, ни от результатов очередных выборов. Разве что от успешной работы органов. Стоит ли удивляться, что органы — единственная в стране организация, чья производительность труда всегда оставалась высокой? По-моему, не стоит.



Из «Книги о Чехове»

”Полинька”*

1. Фабула ”Полиньки”

Полинька — дочь ”содержательницы модной мастерской” — ”маленькая худошавая блондинка”, должно быть, миловидная. Она, по-видимому, немного помогает матери, ходит в галантерейный магазин за покупками для мастерской, а в общем — растет себе невестой, как яблонька в саду. Семья ее неинтеллигентная: Полинька, например, говорит ”здрате”; величают ее Пелагеей Сергеевной; в чуть более интеллигентной семье она была бы, по крайней мере, Полиной Сергеевной. Чехов дает своим персонажам очень точные имена, созвучные им.

За Полинькой ухаживает влюбленный в нее солидный, с видами на будущее приказчик галантерейного магазина Николай Тимофеич (не Тимо-

* Из главы ”Музыкальная многоголосая композиция”.

феевич, а именно Тимофеич), имеющий твердое намерение жениться и построить с ней счастливую семью. Кроме любви, для этого имеются и веские материальные основания. Мамаша Полинки — женщина основательная (это чувствуется уже в твердых согласных звуках ее имени: Марья Андреевна), с деньгами. На приданое Николай Тимофеич, конечно, откроет свой собственный (собственный!) галантерейный магазин — сначала маленький, а потом, потом... Николай Тимофеич, изучивший все тайны галантерейной торговли (аграмант, рококо, сутажет, камбре...) вплоть до ее высокой словесности ("Будьте любезны, мадам, пожаловать в это отделение; мадемуазель, не угодно ли?.. Есть-с"), будет работать в контакте с тещей, которой он будет поставлять для ее мастерской галантерею, как теперь говорят: на взаимно-выгодных условиях. И у Николая Тимофеича, служившего когда-то "чернобровым мальчиком" в магазине, будет свой собственный "чернобровый мальчик" в собственном магазине и собственные приказчики, завитые и с бакенами... А там умирает Марья Андреевна, мастерская переходит к Полинке, а потом, потом...

Полинька отвечает Николаю Тимофеичу взаимностью; она уже привязалась к нему...

Но вдруг в эту галантерейную идиллию противным ветром, как комара в глаз, занесло студента — и Полинькина душа замутилась. Студент принес с собой ощущение другого, более высокого, "интеллигентного" мира и вся вокруг галантерея вместе с ее рыцарем — Николаем Тимофеичем вдруг поникла, посерела, стала скучной. И целыми вечерами глядит Полинька на этого "господина студента" (как изысканно-ядовито называет его Николай Тимофеич), "впившись в него глаза-

ми, словно в ангела какого”. Да она и прямо признается Николаю Тимофеичу, что влюблена в студента.

Полиньку обуревают девичья мечта: уцепившись за плечи любимого, перелететь с ним мгновенно в его прекрасный ”интересный” мир ”докторов и адвокатов”, который самому-то мужчине достается тяжелым студенческим трудом и потом.

И тут настигает Полиньку трагическое раздвоение. Она влюблена в студента, но знает, что Николай Тимофеич ”только один ее любит”, и он же подробно и добросовестно, словно покупательнице, разъясняет ей, что дружба со студентом для нее ”модисточки”, опасна, что насчет брака с ним — она должна ”оставить свое воображение”. Наконец, Николай Тимофеич однажды оставляет ее дом и заявляет: ”А я к вам больше никогда не приду-с”.

Что же остается девушке делать с такой неразрешимой дилеммой? Ближайший выход, старый и вечно новый: плакать, что она и делает: ”Из глаз ее брызжут крупные слезы”.

Николай Тимофеич тоже потрясен своей бедой и тоже — по-своему — плачет. Тем и кончается рассказ.

*

Такова фабула рассказа, построенная по его тексту, а также по домыслам читателя, примерно соответствующим тексту. По этой приблизительной фабуле можно все же оценить, как свирепо Чехов черкал и сокращал свои рукописи. Весь рассказ сведен всего к одной сцене в магазине — диалогу между Полинькой и Николаем Тимофеичем. При этом, если не считать разговоров о покупках, роль

Полиньки сводится к двум-трем фразам: вроде "Я сама не знаю, что со мной делается", двум-трем жестам и слезам. Только Николай Тимофеич много резонирует.

2. Музыкальная композиция "Полиньки"

Рассмотрим теперь компоновку рассказа последовательно с самого начала.

"Второй час дня. В галантерейном магазине "Парижские новости"... торговля в разгаре. Слышен монотонный гул приказчичьих голосов..." и т. д.

Здесь указано точное время и место действия. Действительно, в галантерейных или мануфактурных магазинах разгар торговли приходится на поздние утренние (предобеденные) часы — между часов и двумя.

Чехов блеснул в рассказе удивительными детальными познаниями специально в области галантерейного товароведения, под стать самому Николаю Тимофеичу. Он как будто даже щеголяет своим виртуозным владением материалом перед ленивыми, нерадивыми писателями: смотрите, мол, как надо изучать незнакомый материал к маленькому рассказу и притом без единой оплачиваемой творческой командировки!

Не ищите только в современных галантерейных магазинах товаров чеховских времен: "аграманта, рококо, сутажета, камбре" и т. п. Ничего этого уже нет, и никто из продавцов даже не скажет вам, что означали когда-то эти подозрительные иностранные слова.

Весь первый абзац из семи строк является вступлением, создающим декорацию, а также оркестровой увертюрой, создающей звуковой фон для всего

рассказа. Этот фон будет часто просвечивать в рассказе. Оркестр здесь может подойти, конечно, не симфонический, а нечто в роде современного эстрадного или джазового.

Во втором абзаце уже появляется первое действующее лицо, первый сольный инструмент — флейта — Полинька, которая "ищет кого-то (Николая Тимофеича) глазами".

"К ней подбегает чернобровый мальчик и спрашивает, глядя на нее очень серьезно:

— Что прикажете, сударыня?"

Какова роль этого мальчика и что значит "очень серьезно"?

"Чернобровый мальчик" — мы уже знаем — это будущий "стройный брюнет", приказчик, подобный Николаю Тимофеичу, бывшему когда-то таким же "мальчиком". "Очень серьезно" и "Что прикажете, сударыня?" означает примерно следующее. Обязанностью мальчика — служителя в храме торговли было: встречать у входа мирян — вернее мирянок, заходящих сюда зачастую в неопределенном, сомнительном покупательском состоянии, завлекать их, произнося перед ними некую формулу, которая должна означать: Гряди в наш храм, отныне ты не просто баба, а сударыня, мадмуазель, мадам; приказывай, — мы все исполним с покорностью и услужливостью, чего нигде больше не испытаешь.

Тут же появляется блестящий, завитой, "с большой булавкой на галстук" — второй сольный инструмент (кларнет) — "хороший, здоровый баритон" — Николай Тимофеич.

На создание фона, декорации и на выход действующих лиц израсходовано Чеховым ровно полстраницы.

Начинается диалог.

— ”Пелагея Сергеевна, мое почтение!.. Пожалуйста!..

— А, здрасте! ...” и т. д.

С музыкальной стороны рассказ несколько напоминает ”Приглашение к танцу” Вебера. Там на фоне непрерывно звучащей оркестровой танцевальной темы несколько раз появляется ”баритон” — сольный кларнет на низком регистре, вызывающий представление говорящего мужского бархатного голоса какого-нибудь молодого поручика или гардемарина, приглашающего на танец молоденькую барышню. Она же вертится, ломается — ах, ах! — что великолепно изображено жеманными высокими звуками (флейт, скрипок):

— Тьям, тьям, тьям, тьям...

*

Сначала наши ”солисты” продолжают общемагазинную оркестровую тему — они заводят обычный разговор покупательницы с продавцом, притворно скрывая друг от друга свое волнение. Но вскоре вплетается их личная драматическая тема.

” — Мне еще нужен стеклярусный бок с аграмантными пуговицами, — говорит Полинька, *нагибаясь над аграмантом*, и почему-то вздыхает” и т. д.

Этот трогательный жест и является началом драматического дуэта на галантерейном фоне.

Дальше:

”Полинька *еще ниже нагибается* к прилавку и тихо спрашивает:

— А зачем это вы, Николай Тимофеич, в четверг ушли от нас так рано?”

Только это и смогла вымолвить, выдавить из себя Полинька — и как потянула за язык Николая Тимофеича:

” — Гм! ... Странно, что вы это заметили, — говорит приказчик с усмешкой. — Вы так были увлечены господином студентом...”

И пошел, и пошел выкладывать свою обиду и ревность и хлестать бедную Полиньку по наболевшему сердцу, которое она с молчаливой мукой подставляет под его удары и только ”виновато глядит ему в лицо”. Правда, и у него дрожат пальцы, и ”около глаз выступают красные пятна”, но он бьет без жалости.

” — А к вам я больше никогда не приду-с...”

” — С какой стати мне себя мучить? ... Нешто мне приятно видеть, как этот студент около вас разыгрывает роль-с?..

... в ы в него впившись глазами, словно в ангела какого-нибудь. Вы в него влюблены...”

” ... У меня самолюбие есть...”

” — Воображаете за него замуж выйти, что ли? Ну насчет этого — оставьте ваше воображение. Студентам запрещается жениться, да и разве он к вам затем ходит, чтобы все честным образом кончить? Как же!..

... Да-с! Так какого же вы плюмажу возьмете?..

... Небось и теперь уж там, ... среди студентов, хвалится, что у него модисточка есть на примете”.

Все длинное интимное объяснение Николая Тимофеича с Полинькой густо, через каждые несколько слов, перемешано, замаскировано деловыми разговорами, вроде:

” — Черные от 80 копеек, а цветные на 2 р. 50 к. А к вам я больше никогда не приду-с — тихо добавляет Николай Тимофеич”.

Получается искусно скомпонованный параллельный ход двух тем, бегущих друг за дружкой, что в музыке называется фугой.

Но вот Николай Тимофеич закончил последнюю длинную тираду, состоящую из ревнивых упреков и зловещих предсказаний, и замолчал. Что же Полинька? Она не отвечает ему, пытается скрыться за покупательскими разговорами.

”Полинька садится на стул и задумчиво глядит на грудку белых коробок.

— Нет, уж я не возьму плюмажу! — вздыхает она. — Пусть сама мамаша берет...” и т. д.

Далее следует внутренний кульминационный пункт, являющийся ключом к расшифровке переживаний и поведения Полиньки:

”Она виновато глядит ему в лицо и, видимо, ждет, что он будет продолжать говорить, но он угрюмо молчит и приводит в порядок плюмаж”.

Теперь выясняется, что переживает Полинька и зачем она, собственно, пришла в магазин. Влюбившись в студента и почувствовав опасное раздвоение, она растерянно метнулась к старому другу и поклоннику Николаю Тимофеичу, чтобы с его помощью, как говорится, ”разобраться в своих чувствах”, а может быть, и найти защиту от нового опасного увлечения. Это особый, специфический прием, который иногда в подобных случаях интуитивно находят и применяют девушки. Девушка не избегает предполагаемого к отставке старого поклонника, а сама является к нему и подставляет себя под его расправу или же отдается под его защиту. Полуотвернувшись от него, глядя в сторону, чтобы не мешать слуху, она напряженно вслушивается в его свирепые или жалобные упреки, объяснения, угрозы, в которых, может быть, впервые перед ней раскрывается его нутро, и зачастую ей тут же действительно становится ясным, кого она по-настоящему любит, кто должен ею ”владеть”.

Это очень тонкое и сильное переживание, возможно, впервые в литературе описанное здесь 27-летним Чеховым.

Итак, Полинька молча выслушала от Николая Тимофеича его упреки и подробное обоснование гибельности ее увлечения студентом. При этом он вел себя "благородно", волновался, не грубил ей, оказался любящим, заботливым. Поэтому она "виновато глядит ему в лицо". Но тем более — увы! — ничего не прояснилось, а запуталось еще больше, еще труднее принять решение, особенно то, к которому ее втайне влечет: выбрать студента. Поэтому она "ждет, что он (Николай Тимофеич) будет продолжать говорить, но он угрюмо молчит..."

Полинька оттягивает время:

" — Не забыть бы еще для капота пуговиц взять... — говорит она после некоторого молчания, утирая платком бледные губы".

Это изумительный, достойный Чехова по простоте и выразительности жест девичьей печали. Она пытается еще немного кое-как протянуть купательский разговор, но после двух-трех реплик Николай Тимофеич дает еще один толчок:

" — Только я не понимаю. Неужели вы сами не можете рассудить? Ну, к чему поведут эти... прогулки?"

И тут, наконец, прорвало растерявшуюся Полиньку:

" — Я сама не знаю... — шепчет Полинька и *нагибается к пуговицам*. — Я сама не знаю, Николай Тимофеич, что со мной делается".

Нежная флейта-солист шепотом (пианиссимо) закончила свою грустную мелодию. Второй солист — кларнет тоже. Точка. И тут по законам музыкальной композиции внезапно врывается затопляющий шквал сопровождающего оркестра — ма-

газина со своим громким и грубым мажором — в данном случае в лице двух скрежещущих джазовых инструментов (саксофонов, труб, что ли): солидного приказчика с бакенами и толстой басистой дамы, бесцеремонно придавивших наших лирических солистов с двух сторон прилавка. Он кричит:

— Будьте любезны, мадам, пожаловать в это отделение.

Кофточки джерсе имеются три номера... Какую вам прикажете?"

Дама отвечает басом.

Шквал уходит, оркестр замолкает.

Бедные солисты тревожно шепчутся.

— Делайте вид, что товар осматриваете, — шепчет Николай Тимофеич, наклоняясь к Полиньке и насильно улыбаясь.

— Вы, Бог с вами, какая-то бледная и больная, совсем из лица изменились".

И опять начинает беречь ее рану:

— Бросит он вас, Пелагея Сергеевна! А если женится когда-нибудь, то не по любви, а с голода, на деньги ваши польстится... От гостей и товарищей будет вас прятать, потому что вы необразованная, так и будет говорить: *моя кувалда...*"

Тут галантерейный оркестр обрушивает на них второй шквал:

— Николай Тимофеич! — кричит кто-то с другого конца магазина. — Вот мадемуазель просят три аршина ленты с пико! Есть у нас?

Николай Тимофеич осклабляет свое лицо и кричит:

— Есть-с! Есть ленты с пико..."

Шквал уходит, и снова одинокие кларнет и флейта пытаются продолжить свое мучительное

объяснение, прикрываясь покупкой корсета. Но, —

” — У вас на глазах... слезы! — пугается Николай Тимофеич... Зачем это? Пойдемте к корсетам, я вас загорожу, а то неловко”.

”Насильно улыбаясь и с преувеличенной развязностью” ... он ”прячет ее от публики за высокую пирамиду из коробок”. Из последних сил они продолжают свой двойной разговор, как будто пилят собственные души ручной пилой — туда-обратно: туда — от себя — холостой ход, обратно — на себя — рабочий, режущий ход:

Туда — громко: ” — Вам какой прикажете корсет?”

Обратно — шепотом: ” — Утрите глаза”.

Она:

Туда: ” — Мне... мне... в 48 сантиметров...”

Обратно: ” — Мне поговорить с вами нужно, Николай Тимофеич. Приходите нынче!”

Увы, Полинька не может порвать с Николаем Тимофеичем:

” — Вы один только... меня любите, и, кроме вас, не с кем мне поговорить”.

Он пилит:

Туда: ” — Не камыш, не кости, а настоящий китовый ус...”

Обратно: ” — О чем же нам говорить? Говорить не о чем...”

Но после ее последних слов у него еще мелькнула надежда, и он спрашивает:

” — Ведь пойдете с ним сегодня гулять?”

И она, увы, отвечает:

” — По... Пойду.

— Ну, так о чем же тут говорить? Не поможешь разговорами... Влюблены ведь?”

Полинька не может лгать другу, который один только ее любит:

— Да... — шепчет нерешительно Полинька, и из глаз ее брызжут крупные слезы.

— Какие же могут быть разговоры? — бормочет Николай Тимофеич, нервно пожимая плечами и бледнея... —

Утрите глаза, вот и все. Я... я ничего не желаю”.

Вот и все. Объяснение окончено. Их накрывает в убежище третий галантерейный шквал из магазина (по ритмическим законам их здесь и должно быть три):

”В это время к пирамиде из коробок подходит высокий тощий приказчик и говорит своей покупательнице:

— Не угодно ли прекрасный эластик для подвязок, не останавливающий крови, признанный медициной...”

От сердец Николая Тимофеича и Полиньки остаются одни обломки. Бессильные разрешить свою сердечную тяжбу, оба плачут. Она, загороженная корсетами и Николаем Тимофеичем, молча льет настоящие физические слезы. А он — внутренне дрожит от рыданий, а внешне *”морщит лицо в улыбку”* и громко говорит:

— Есть два сорта кружев, сударыня! Бумажные и шелковые! Ориенталь, британские, валенсьен, кроше, торшон... рококо, сутажет, камбре... Ради Бога, утрите слезы! Сюда идет!”

Скоморошья служба приучила его по целым дням паясничать перед *”мадмуазелями”* и *”сударынями”*, корчить улыбки, как в балагане. Но когда на сердце кошки скребут, тяжело выкрикивать на людях эти отвратительные для русского уха шутовские слова: валенсьен, кроше, торшон, рококо...

Как леонкавалловский оперный паяц Канио, который, рыдая и паясничая перед публикой, поет:

”Смейся, паяц, над разбитой любовью...”

так Николай Тимофеич, ”сморщивший лицо в улыбку”, то есть с лицом, перекошенным маской улыбки, ”видя, что слезы все еще текут” у Полинки, внутренне рыдая над собой и над Полинкой и как бы горестно протягивая вперед руки ладонями кверху, продолжает еще громче кричать:

” — Испанские, рококо, сутаже-ет, камбре-е-э-э...”

В этих плачущих ”э-э-э” проклятых галантерейных слов пытается Николай Тимофеич внутренне излить свои рыдания.

Таков один из пятистраничных шедевров Чехова.

*”Дама с собачкой”**

Искусство — это нисхождение и погружение духовного мира в земную человеческую жизнь, совершающееся через душу художника. Эволюция искусства состоит в его нисхождении во все более глубокие и низкие слои жизни — и соответственно — в одухотворении их. Так, предметом античного искусства, связанного с религией, были боги, полубоги, потом герои, великие вожди. Затем искусство эмансипируется от религии, становится светским, вначале великосветским, потом спускается все ниже и ниже. При этом нисхождение искусства нужно рассматривать в двойном смысле. С одной стороны, искусство спускается во все более низкие

* Из главы ”Чехов нисходит в курортный роман”.

социальные слои и классы (тем самым оно демократизируется и приобщает к себе все более широкие слои населения). С другой стороны, оно спускается в духовные низы и пропасти человека — не человечества, а человека, в его юдоль греха, зла и духовного возмездия во всем ее пестром и страшном разнообразии.

Три романа Толстого: "Война и мир", "Анна Каренина" и "Воскресение" иллюстрируют три ступени в нисхождении искусства в творчестве одного писателя. Последний роман доходит до тюрьмы и каторги. Дальше всех, то есть "ниже" всех спустился с духовным светом большого искусства в нашу эпоху А. И. Солженицын. Он довел свет искусства до сталинских концлагерей.

Какова же, собственно, миссия искусства и для чего оно нисходит в низшие сферы? Для того, чтобы осветить их духовным светом, очистить, преобразовать их или помочь человеку выбраться оттуда. Случаи целительного воздействия искусства в социальной сфере, вообще, хорошо известны, например — роль русской литературы в деле разложения и ликвидации крепостного права, а затем и капитализма* в России, а в наше время — заметная роль рассказа Солженицына "Один день Ивана Денисовича", именно как произведения большого искусства, в пробуждении общественного сознания советской интеллигенции и бесповоротном осуждении ею, наконец, сталинского режима насилия, а

* Здесь мы позволим себе высказать сомнение, во-первых, в положительности самого факта "разложения и ликвидации ... капитализма", а во-вторых, в какой-то особой роли русской литературы в процессе разложения. Если, конечно, не считать литературных усилий Горького и политической литературы. — Р е д.

также в восстановлении человеческого достоинства бывших его жертв.

В индивидуальной же, например, моральной, сфере спасительная роль искусства бывает далеко не так ясно видна и учесть ее результаты труднее. Трудно, конечно, точно установить итоги влияния Достоевского, Толстого, Чехова, Диккенса на мировоззрение и нравственное сознание отдельных людей, но наличие этого невидимого влияния в прошлом, настоящем и будущем (то есть на будущие поколения) — не подлежит сомнению. К тому же и социальное воздействие искусства осуществляется фактически через человеческие индивидуальности.

Рассказ "Дама с собачкой" — одна из счастливых возможностей очень наглядно увидеть эту высокую миссию искусства на примере одного из его великих жрецов — Антона Павловича Чехова.

I

Четыре главы рассказа напоминают четыре действия пьесы. И в каждой главе, кроме первой, есть своя центральная драматическая сцена. Первая же глава — необычно рыхлая для Чехова — является несколько растянутым (опять-таки для Чехова!) прозаическим вступлением в это поэтическое произведение. Начинается она, правда, в энергичном темпе, "с середины" ("Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой..." и т. д.), но через полстраницы темп увядает, и начинается подробное (почти на целую страницу) описание отношения Гурова к женщинам вообще, потом весьма подробное описание знакомства обоих героев, в котором сыграла свою роль и собачка. (Второй раз собачка на одно мгновение появ-

ляется в третьей главе, и, кроме этих двух "точек" композиции, она больше нигде не фигурирует в рассказе: и автор и читатель о ней забывают.) Затем опять идут сведения о Гурове, а также об Анне Сергеевне. К характеристике Гурова Чехов возвращается и в третий раз — во второй главе, где еще полстраницы посвящено описанию его прошлых любовных переживаний.

В первой главе Гуров характеризуется как человек привлекательный для женщин и любящий их общество, без которого "он не мог бы прожить и двух дней", но не любящий мужского общества. Вместе с тем о женщинах он говорил крайне уничижительно, обзывая их "низшей расой". Причем Чехов как-то выпятил эту кличку, затежав ее ритмически отдельной строчкой:

"... о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!"

Тем самым Чехов характеризует Гурова как законченного солидного "дамского угодника", волокиту, давно отвыкшего от настоящей женской любви.

II

Герои рассказа приехали в Ялту уже предрасположенными к легкому курортному роману. Чехов подробно обосновывает это. Гуров — старый волокита, к тому же не любивший свою "мыслящую" жену, этой своей чертой напоминающую другую чеховскую героиню, Полину Вассудину ("Три года"). Анна Сергеевна, молодая мечтательная женщина, была, конечно, несравненно чище Гурова, но и она не была удовлетворена своим замужеством,

о чем сама сбивчиво рассказывает, и сбежала в Ялту от своего мужа — "лакея" со смутной жадной глубоких переживаний ("... Меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше...").

Когда Гуров увидел на набережной даму с собачкой, у него включился старый условный рефлекс, "и соблазнительная мысль о скорой мимолетной связи, о романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им".

Вторая глава начинается так:

"Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться".

Исследователь творчества Чехова А. Дерман тонко заметил, что выраженная в этих строках "неприятность душного дня" кладет какую-то тревожную тень на то, что последует дальше. Более того, внешняя, как будто предгрозовая духота и сухость отображают собой внутреннюю духоту любовной страсти, жаждущей удовлетворения, как сухая земля влаги. Недаром, когда Гуров поцеловал Анну Сергеевну в губы, "его обдало запахом и влагой цветов". У нее в номере тоже "было душно".

После их первого любовного свидания Гуров стал молча и медленно... закусывать арбузом. Чехову было очень больно писать эту сцену; возьмем частицу его боли на себя и прочитаем ее еще раз медленно, как это ни трудно сделать:

"На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть *не спеша*. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании".

К такому "арбузу" и должен был свестись оче-

редной курортный роман Гурова и первый — Анны Сергеевны. Оба они не хотели и в мыслях не имели будить светлых духов чистой любви. И не по их вине случилось иначе.

А случилось вот что. Подобно тому, как расшалившиеся дети, например, в бане, смеха ради, обливают друг друга холодной водой из кранов и вдруг нечаянно задевают плечом кран горячей воды, которая больно ошпаривает их кипятком, так наши герои беспечно забавлялись веселым и холодным флиртом, но незаметно для себя очутились где-то очень близко от царства горячих родников настоящей любви, задела какой-то там краник и — брызнувшая оттуда нечаянная струя любви вдруг больно обожгла их — на всю жизнь.

В библейские времена Бог карал смертью за святотатство того, кто, не пройдя специального очищения, касался руками священного ковчега. Ныне бог любви поразил на всю жизнь Гурова и Анну Сергеевну за любовное святотатство молнией любви (или — в античной формулировке — стрелой Амура). Жгучая струя любви очистила их, смыла с них слой пошлости, вернула им молодую способность любить. Это было чудо — счастливое и мучительное. Стареющий Гуров, который много, много раз "знакомился, сходился, расставался, но ни разу не любил", "только теперь, когда у него голова стала седой, ... полюбил как следует, по-настоящему — первый раз в жизни".

Чехов оставил нам на каких-нибудь двух-трех страницах подробное — минута за минутой — художественное описание этого любовного шока.

Чистая Анна Сергеевна сразу "к тому, что произошло, отнеслась... очень серьезно, точно к своему падению..."

” — Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь”.

Она верно почуяла страшную опасность: равнодушные мужчины после ласк. И действительно: Гуров молча ел арбуз. Его притупленные чувства и сердце еще не почуяли ничего особенного в этом приключении. На столе горела *одинокая свеча*, ... едва освещавшая ее лицо. Потом Гуров подал несколько равнодушных уклончивых реплик. Он сказал:

” — Ты точно оправдываешься”.

Это значило: ты не виновата, греха никакого нет, ты взрослая, замужняя женщина, сама себе хозяйка, имеешь право наслаждаться. И ты знала, на что идешь, нечего теперь хныкать. Он фатовато бодрился.

А она ”в унылой позе, точно грешница на старинной картине” (этот очень реальный образ переживаний Анны Сергеевны Чехов дает здесь с еле заметной усмешкой, которая на деле только усиливает его реалистичность), с глазами, полными слез, продолжала горевать, раскаиваться и рассказала ему свою жизнь.

”... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать”.

С точки зрения Гурова, такое серьезное отношение ”к тому, что произошло”, было ”странно и некстати”. И Гурову — прежнему Гурову, фату, не уважающему женщин, — наконец надоело это покаянное хныканье. Для того крохотного кончика души, который он вкладывал в любовные похождения, искреннее раскаяние и слезы партнерши были непривычной и неудобной нагрузкой, да к тому же еще щекочущей совестью, а это совсем уже неуместно на курорте.

”Гурову было уже скучно слушать, его раздра-

жали наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; ”

До этой точки с запятой сюжет плетется по стандартной дорожке пошлого адюльтера, больше всего пугающегося проблесков живого чувства. Гуров уже раздражен и вот-вот ”брякнет” что-нибудь холодное и обидное Анне Сергеевне, вроде: — Не понимаю, чего ты хочешь?

Но тут-то Чехов и начал сворачивать со стандартного сюжета на свой, чеховский. И чтобы сделать это начало возможно более плавным, незаметным для читателей (как он это часто любил делать), он упрятал его... внутрь фразы под *точку с запятой*, после которой добавил уже чуть-чуть теплоты:

”если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль”.

Первая половина фразы, до точки с запятой, относится к стандартному сюжету, после точки с запятой — еле заметное начало нового сюжета.

В самом деле, Гурову лезет в голову обычное предположение: Анна Сергеевна, как все ”они”, просто играет роль, кокетничает. Но вот ... слезы на глазах. Он видит их и, хотя уже начинает свою отвязчивую холодную реплику: ”Я не понимаю...”, но уже не может закончить ее, по пошлomu шаблону, холодно или резко, а продолжает ее ”тихо”:

”— Я не понимаю, — сказал он тихо, — что же ты хочешь?”

Выбросьте слово ”тихо” и эта реплика будет звучать как обычный безучастный и холодный вопрос, которым зачастую бюрократ внезапно обескураживает, лишая надежды и мужества, взволнованного просителя. Гуров уклонится от серьезных и чувствительных разговоров, а Анна Сергеевна поплачет и привыкнет к своей столь обычной женской доле — мужским ласкам без любви.

Но этого не случилось. Слово "тихо" неожиданно снижает холодность и колючесть реплики Гурова. Так и следует читать эту фразу: громко: "Я не понимаю", и тихо: "что же ты хочешь?"

Потом Гуров, должно быть, чуть наклонился к Анне Сергеевне, как бы обратясь к ней вогнутостью. Одновременно душа его убрала свои жесткие выпуклости, выступы и тоже стала, как и тело, вогнутой*, приемчивой для Анны Сергеевны. И ее душа, истомленная тревогой, бросилась рывком в эту вогнутость, как в спасительное укрытие:

"Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас... — говорила она. — Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок..."

И он стал оттаивать:

" — Полно, полно... — бормотал он".

Он уже не разглагольствует самоуверенно ("Что же ты хочешь?"), а смущенно и ласково *бормочет*.

"Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково,

и она понемногу успокоилась,
и веселость вернулась к ней;
стали оба смеяться".

Таким образом, весь переход, вернее — переворот, в сюжете выполнен Чеховым изящно, без скачков по плавной переходной кривой (как при повороте железнодорожной трассы на 90°) через шесть точек. Вот они:

1) После первой поворотной точки с запятой — упоминание о слезах Анны Сергеевны.

2) Слово "тихо".

* Образ, принадлежащий Андрею Белому.

3) Бросок Анны Сергеевны к Гурову и ее покаянная речь.

4) Он успокаивает ее, "бормочет".

5) Он смотрит ей в глаза, целует, говорит ласково.

6) Она успокаивается. Оба смеются.

Кончился курортный адюльтер. Началась любовь.

Весь этот плавный, тонкий переход занял у Чехова всего, круглым счетом, полтора десятка строк! И мы с вами переехали на новую трассу, не ощутив ни одного толчка.

Потом они вышли на опустевшую набережную. И тут Чехов не без тайного ехидства замечает, что только теперь, выходя из гостиницы, Гуров прочел на доске фамилию своей возлюбленной. Целую неделю ухаживал за ней, обольстил, сам влюбился, а фамилии ее не удосужился узнать. Как положено в традиционном курортном "романе с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии".

Но роман превращается в любовь, и Чехов благословляет ее. Больной, страдающий кровохарканьем, прикованный к скучной Ялте, этой "теплой Сибири", как он называл ее, он поэтизирует и щедро украшает любовь своих героев, используя для этого красоты той же Ялты, в которых знал толк.

Он отвозит их в местность с красивым античным названием Ореанда, усаживает там на скамью, недалеко от церкви, откуда им было хорошо и далеко видно, и они только "смотрели вниз на море и молчали", смотрели и молчали... А он стал разворачивать перед ними одну за другой волшебные картины. Слушайте.

"Ялта была едва видна сквозь утренний туман,

на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады...”

Дальше следует несколько сентиментальных философских сентенций. Гурова, соответствующих мечтательной обстановке, о том, что так шумело море когда-то, шумит теперь и будет шуметь, когда нас не будет, о том, что ”в этом... кроется, быть может, залог нашего вечного спасения”, о том, ”как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете...” Так расчувствовался Гуров, по-видимому, впервые в жизни.

Он сидел ”очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба”, а рядом с ним сидела, молчала и смотрела тоже очарованная молодая тонкошеяя трогательная женщина с красивыми серыми глазами, которая вся ”на рассвете казалась такой красивой” и которая только что одарила его неведомой ему доселе любовью.

Потом, как тонкий постановщик, Чехов на миг прикрывает картину моря и неба и отвлекает нас маленькой поэтической интермедией:

”Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой”.

Пока мы были заняты этой интермедией у скамейки, Чехов успел переменить картину: прибавил света — поднял зарю и вывел на море пароход, ”освещенный утренней зарей, уже без огней”. Золотой свет зари, освещающий пароход и играющий с синевой неба и моря — все это, видимое сверху, действительно принадлежит к прекраснейшим в нашем мире зрелищам. Причем тайной его красоты является именно пароход — разумное и властное произведение человеческого творчества на безбреж-

ном, первобытном фоне природы, как самолет в небе, железная или шоссейная дорога в горах, или просто человеческое поселение на берегу моря у подножья горы, вроде Ялты. При всей несравнимости физических размеров моря и парохода, художественное зрение показывает, что морской простор организуется вокруг парохода, подчиняется ему, как небо самолету или равнина — одинокой человеческой фигуре на картине. Такую совершенную красоту и показал Чехов своей влюбленной чете. Фантастичность зрелища увеличивается еще окружающим безлюдьем. На рассвете и в спящем городе и на пароходе не было видно людей, — ведь пароход шел без огней, выдающих присутствие на нем человека, как привидение, на фоне зари и синего моря.

Потом они очнулись, но не стали нарушать тишину разговорами.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город”.

Так было и в последующие дни.

”Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы”.

Чехов подарил своим влюбленным героям сказочный медовый месяц, на описание которого не пожалел целых полстраницы. Гуров бесконечно любовался вслух Анной Сергеевной, ”был нетерпеливо страстен”, переродился от любви. А она, искренняя и чистая, не любившая еще никого, все время тревожилась страхом, ”что он ее не уважает” и ”только видит в ней пошлую женщину” — это звучит у нее неизменно, как лейтмо-

тив ее чувств. С этими тревогами и сомнениями, которые только подогревали его нежность к ней, она, конечно, обращалась опять-таки к нему — старшему и любящему, называла его "добрым, необыкновенным, возвышенным".

Наступила разлука, описанию которой Чехов посвящает целую страницу. Само прощание передано только несколькими лирическими, женственными "стихами" Анны Сергеевны, расположенными в виде грустной песни из трех строф с авторскими ("режиссерскими") вставками между ними:

"— Это хорошо, что я уезжаю, —
говорила она Гурову.
— Это сама судьба".

Затем, когда она садилась в вагон:

"— Дайте, я погляжу на вас еще...
Погляжу еще раз.
Вот так.

Она не плакала, но была грустна,
точно больна,
и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать, —
говорила она.

— Господь с вами, оставайтесь.
Не поминайте лихом.

Мы навсегда прощаемся,
это так нужно,

потому что не следовало бы вовсе встречаться.
Ну, Господь с вами!"

В последней "строфе" слышатся уже вздохи со слезами.

"Поезд ушел быстро" — Чехов как бы одним взмахом ножниц отрезает Анну Сергеевну от Гурова и прекращает "это сладкое забытие, это безумие". Начинается внутренний монолог одинокого

Гурова, который "будто только что проснулся". Он не так безмерно печален, как Анна Сергеевна, но и он "растроган, грустен" и, главное, впервые "испытывал легкое раскаяние". Ему даже кажется, что он "невольнo обманывал ее", ибо "казался ей не тем, чем был на самом деле". Вот как изменила Гурова любовь, и не то еще будет дальше.

Ритм его "монологa" спокойнее, чем у прощальной "песни" Анны Сергеевны.

И он думал о том,
что вот в его жизни было еще одно
похождение
или "приключение"
и оно тоже уже кончилось,
и осталось теперь
воспоминание...
Он был растроган, грустен
и испытывал легкое раскаяние..."

Волнообразные слова: "похождение", "воспоминание", "раскаяние", расставленные строго ритмично, и другие, следующие за ними, например: "высокомерие", "необыкновенный", "возвышенный" — создают элегический протяжный ритм размышлений и настроения Гурова.

"Монолог" окончен... Гуров как бы оглядывается.

... "Вечер был прохладный".

В следующих словах слышится, как Гуров поживается от холода:

"Пора и мне на север, — думал Гуров, уходя с платформы.

— Пора!"

Двукратное резкое "пора" обрывает его протяжные размышления и захлопывает крышку над всем ялтинским приключением.

III

Но ялтинская любовь не умерла, а только сжалась в маленькое живое зернышко. Когда его опустили в душевную могилку, оно через какой-нибудь месяц проросло в воспоминании и стало расти с угрожающей быстротой, захватывая сердце, ум и волю:

”... воспоминания разгорались все сильнее ... воскресало в памяти все: ... и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи.

... потом воспоминания переходили в мечты... Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним...”

Характерно для живой любви, что она, как утверждает Чехов, делает с течением времени обоих возлюбленных лучше в глазах друг друга:

”Закрывши глаза, он видел ее

как живую,

и она казалась красивее, моложе, нежнее,
чем была;

и сам он казался себе лучше,

чем был тогда, в Ялте”.

А окружающая жизнь без любви обесцветилась, обезобразилась. Стала ”какая-то куца, бескрылая жизнь, какая-то чепуха” ... ”Какие дикие нравы, какие лица!” Даже ”дети ему надоели... не хотелось никуда идти, ни о чем говорить”.

А любовь распускается все пышнее и корни пускает все глубже, и он уже не может жить и дышать без своей возлюбленной, которая, как мы потом узнаем, так же страдала без него. Когда ему становится невмоготу, он срывается с места и едет к ней в С. (Смоленск?).

Всего три-четыре месяца тому назад он ел ”не

спеша" арбуз, а она бросилась ему на грудь. А теперь настал его черед, теперь он, старый греховодник, почтенный чиновник и отец семейства сам бросается, очертя голову, к ней, да еще в другой город.

Их напряженное стремление друг к другу стало так велико, что Чехов не мог дать им встретиться в С. запросто или невзначай: мог произойти опасный грозовой разряд. Ему пришлось затратить целых полторы страницы на постепенное сближение двух электродов — Гурова и Анны Сергеевны.

Целый день Гуров, волнуясь, кружит вокруг своей возлюбленной, как селезень над уткой. Сначала он нашел ее дом, потом услышал ее игру на рояле, потом увидел "ту самую" собачку, и при этом "у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица". (Здесь во второй раз в рассказе фигурирует собачка.)

После этого первого круга поисков Гуров отступил, отдохнул, собрался с силами и "полетел" на второй круг — в театр. И все же, несмотря на такую постепенность его приближения к цели, когда он увидел ее, "то сердце у него сжалось". И здесь Чехов одарил его крупной горстью своих, чеховских нежных слов:

"... и он понял ясно,
что для него теперь на всем свете
нет ближе,
дороже
и важнее человека;
она, затерявшаяся в провинциальной толпе,
эта маленькая женщина,
ничем не замечательная,
с вульгарною лорнеткой в руках,
наполняла теперь всю его жизнь,

была его горем,
радостью,
единственным счастьем,
какого он теперь желал для себя;
и под звуки плохого оркестра, дрянных
обывательских скрипок,
он думал о том,
как она хороша.
Думал и мечтал”.

И поздоровался он с ней дрожащим голосом... — это он, Гуров, заправский покоритель женских сердец!

И как ни медленно он приближался к бедной Анне Сергеевне, на нее грозовой удар встречи обрушился во всей силе своей внезапности:

”Она взглянула на него и побледнела,
потом еще раз взглянула с ужасом,
не веря глазам,
и крепко сжала в руках веер и лорнетку,
очевидно борясь с собой, чтобы не упасть
в обморок.

Оба молчали.
Она сидела,
он стоял,
испуганный ее смущением,
не решаясь сесть рядом”.

Но вот оцепенение кончается. Доносятся звуки внешнего мира:

”Запели настраиваемые скрипки и флейта,
СТАЛО ВДРУГ СТРАШНО,
казалось, что из всех лож смотрят”.

По внутренней логике и ритму потрясения первая его фаза — оцепенение — должна разрешиться второй фазой — быстрым движением, метанием, бегом. И они действительно побежали —

”быстро... бестолково, по коридорам, по
лестницам,
то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них
перед глазами какие-то люди в судейских,
учительских и удельных мундирах... дамы, шубы
на вешалках...” и т. д.

У Гурова ”сильно билось сердце”. Но вот кончи-
лось это метание — скорее внутреннее, чем внешнее,
и они остановились. Анна Сергеевна заговорила.

Читайте эту страницу медленно, следите за ее
внутренним и внешним ритмом, за каждым ее сло-
вом. Она была написана в пору, когда уже развер-
нулся драматургический талант Чехова. Здесь яркая
женская любовь показана через простые слова ”ма-
ленькой женщины, ничем не замечательной”:

” — Как вы меня испугали!

.....
О, как вы меня испугали!

Я едва жива.

Зачем вы приехали?

Зачем?

.....
— Я так страдаю! ...

Я все время думала только о вас,
я жила мыслями о вас.

И мне хотелось забыть, забыть,
но зачем, зачем вы приехали?”

Она в ужасе отстраняется от его поцелуев. Ей не-
выносимо тяжело целоваться с ним вблизи от мужа.
В это же время она смотрит на него так:

”Она глядела на него

со страхом,

с мольбой,

с любовью,

глядела пристально,

чтобы покрепче задержать в памяти его черты”.

Последние слова — какая-то квинтэссенция женственности. Это роль для простой и великой актрисы. И Анна Сергеевна изнемогает под ее тяжестью.

” — Вы должны уехать...

.....
Я никогда не была счастлива,
я теперь несчастна
и никогда, никогда не буду счастлива,
никогда!
Не заставляйте же меня страдать еще
больше!
Клянусь, я приеду в Москву.
А теперь расстанемся!

Мой милый,
добрый,
дорогой мой,
расстанемся!”

Так она закончила свою песню.

IV

”И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву...”

Следует отметить, что в начале главы (как и в некоторых других местах у Чехова) чувствуется толстовский стиль речи, например:

”У него были две жизни: одна явная... и другая, протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств... все, что было для него важно, ... что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его оболочкой, ... все это было явно...”

Может быть, это место как-то отражает тот факт, что Чехов писал этот рассказ не без оглядки на Толстого, то есть учитывая (но не заимствуя) взгляды Толстого. Незримое присутствие Толстого, так

сказать, его жест, сказывается, возможно, и в том штрихе, что Гуров, направляясь к любовнице, идет вместе с дочерью, которую провожает в гимназию.

Дальше идет заключительная сцена свидания в номере, в которой следует отметить два интересных места.

Во-первых, Гуров, несмотря на его сильную и искреннюю любовь, как будто не потерял своих былых "львиных" повадок. Встретив в номере взволнованную, бледную Анну Сергеевну, молча припавшую к его груди, он снисходительным, почти безразличным тоном спрашивает:

"— Ну, как живешь там? ... Что нового?"

Не хватало еще: "Э-э-э, что новенького-с?"

"Она не могла говорить, так как плакала..."

Он не стал успокаивать, ласкать ее, а подумал:

"Ну, пускай поплачет, а я пока посижу", — и сел в кресло.

"Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и протом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала..."

Что означает сие равнодушное чаепитие? Неужели Гуров, у которого забилося сердце при виде собачки Анны Сергеевны и дрожал голос, когда он здоровался с ней в театре, мог так вести себя, когда она "не могла говорить, так как плакала"?

На самом деле за этим внешне равнодушным поведением он, по-видимому, просто скрывал свое смущение. А кроме того кажется, что ехидный Антон Павлович опять съязвил насчет Гурова, еще раз припомнив ему все тот же *ломоть арбуза*, который тот ел "не спеша" в ялтинском номере тоже рядом с растерянной Анной Сергеевной. Сцена с арбузом и сцена с чаем связаны композиционно по линии Гурова.

А вот другое интересное место:

”Он подошел к ней и взял ее за плечи,
чтобы приласкать, пошутить,
и в это время увидел себя в зеркале.
Голова его уже начинала седеть.
И ему показалось странным,
что он так постарел за последние
годы,
так подурнел...”

Это очень сильное переживание. Когда взволнованный (или, скажем, рассерженный) человек вдруг неожиданно увидит себя в зеркале, он внутренне вздрагивает. Ему кажется, что собственное отражение бьет его в упор по лицу, не как кто-нибудь чужой, а как некое собственное ”Я”, видимое через перекошенные черты своего же лица.

Здесь зеркало несвоевременно подвернулось стареющему мужчине в тот момент, когда он, взволнованный, взял за плечи молодую женщину, ”чтобы приласкать, пошутить”, то есть занимался делом, не совсем красящим с виду его возраст и седины. И главное — он как будто увидел в зеркале печальную судьбу этой странной любви, обрушившейся на него так поздно и так могущественно, да еще на эту ни в чем не повинную молодую жизнь, ”... еще такую теплую и красивую, но, вероятно, уже близкую к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь”.

А нас, читателей, в таких случаях ошеломляет еще неожиданность гениальной выдумки. Как, откуда, по какой ассоциации мог художник придумать такую внезапную удивительную неожиданность, как это зеркало? Действительно, такие неожиданные мазки художника обычно демонстрируют особенно наглядно могущество таланта (хотя все подлинно художественные детали и штрихи в сущности неожиданны). Фантазия художника на-

столько вживается в объективную действительность, что последняя становится для него уже субъективной, и он продолжает ее создавать и совершенствовать собственной художественной волей. Его творения уже не произвольны, а проникнуты необходимостью подобно внешним событиям. В данном случае гениальная фантазия Чехова вошла в такой резонанс с действительностью, что он сумел воздать даже *случайное* реальное событие — нечаянный взгляд в зеркало, — сделав его необходимым.

Вот что говорит Гете:

”Высокие произведения искусства — они в то же время и высочайшие произведения природы, созданные людьми по истинным и естественным законам. Все произвольное, все воображаемое отброшено: тут необходимость, тут — Бог”.

(*”Путешествие в Италию”*).

Благословив любовь своих героев, когда она была еще курортным романом, Чехов дал ей потом развиться до высших, благородных форм любви. Так, он уже даже не говорит о влечении Гурова к Анне Сергеевне, а говорит о его сострадании к ней:

”Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой...”

”Он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...”

Любовь — вначале чувственная, а следовательно, эгоистическая — переросла эту стадию и приняла светлую, одухотворенную окраску.

Мало того, —

”Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта любовь изменила их обоих”.

”Прощали все в настоящем” — то есть многобрачие, постоянную измену друг другу с ”законными”

супругами. Их любовь разлилась так, что затопила и ревность и эгоизм и смыла всякую нечистоту. Она была воистину "сильна, как смерть".

Как они простили и жалели друг друга, так и Чехов простил и жалел их, а за ним и мы, читатели, делаем то же. Чехов нашел для их любви такие певучие слова:

"Анна Сергеевна и он любили друг друга,
как очень близкие, родные люди,
как муж и жена,
как нежные друзья;
им казалось, что сама судьба предназначила их
друг для друга,
и было непонятно, для чего он женат,
а она замужем;
и точно это были две перелетные птицы,
самец и самка,
которых поймали и заставили жить
в отдельных клетках".

Так Чехов, наперекор общему мнению, смело и громко засвидетельствовал перед всем светом высоту и силу этой грешной любви.

Но не отменяет ли он тем самым древнюю заповедь единобрачия? Не поощряет ли он "свободную" любовь, разрушающую семью?

Нет, не только не поощряет, но на наших же глазах казнит ее носителей огнем настоящей сильной любви.

А как же быть в таких случаях? Как выйти из создавшегося положения Гурову и Анне Сергеевне? Как нам *расценивать* все это?

А вот и сам Чехов заканчивает свой рассказ таким же тройным вопросом: как?

" — Как? Как? — спрашивал он (и Гуров и Чехов), хватая себя за голову. — Как?"

И чтобы никто не заблуждался насчет возмож-

ности здесь какого-либо общепринятого решения (по какому-либо моральному кодексу, что ли), он добавляет:

”... и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается”.

По ветхозаветному закону грешников, ”взятых в прелюбодеянии”, казнили физически — побивали камнями. В наше время даже самим ”пострадавшим” — жене Гурова и мужу Анны Сергеевны — не пришло бы в голову швырять камни в своих неверных супругов. В настоящую эпоху индивидуальной свободы каждая отдельная личность (заслуживающая этого названия) сама казнится внутренне за свои личные грехи, и Чехов отчетливо показал нам эту казнь.

Всякая же тенденция переложить такое, безусловно, личное, интимное дело на коллектив, общество с его нормами, законами, судом и т. д., то есть *мерить его перед лицом других*, — является в точном смысле слова лицемерием и поэтому безнравственна.

Заключение

”Дама с собачкой” резко отличается от других произведений мировой литературы на тему о прелюбодеях. Вспомним хотя бы два аналогичных русских романа.

Примерно за четверть века до ”Дамы с собачкой” Толстой написал ”Анну Каренину”, где проследил грешную любовь Анны и Вронского до конца, до ее разложения, а опустошенную Анну бросил физически под колеса паровоза именем ветхозаветного Бога (”Мне отмщение и аз воздам”), хотя сам он, как христианин, явно не бросил камня в Анну. Че-

ховскую же "Даму с собачкой" Толстой осудил как находящуюся "по сю сторону добра", то есть на уровне ниже человеческого, животного.

А примерно через четверть века после "Дамы с собачкой" советский писатель Шолохов положил на прелюбодейный жертвенник для заклания очередную чету "незаконных" любовников — Григория Мелехова и Аксинью. Толстой показал великосветскую пару, Чехов — из среднечиноvincialного слоя, Шолохов — из крестьянско-казацкой среды. Так демократизируется и расширяется круг действия данной темы. Шолохов вовсе не довел до конца внутреннюю эволюцию взаимоотношений своих героев, несмотря на то (а может быть, именно потому), что писал этот роман 15 лет. Может быть, это оказалось неразрешимой задачей, поскольку он еще связал любовную тему с текущей эпохой гражданской войны. Во всяком случае Шолохов считал себя в конце концов вынужденным механически избавиться от своих героев: героиню он просто убил случайной пулей, как это делают авторы фронтовых романов, а героя привел на задворки его бывшей усадьбы, оставил там одного и, ни слова не сказавши, ушел. Вероятно, ничего другого уже нельзя было сделать.

Обычно в любовных романах (как и в "Анне Карениной") герои начинают, естественно, с влюбленности, любви и т. д. и затем переходят к близким отношениям, где зачастую любовь умирает. Сюжет "Дамы с собачкой" обратен и уникален: герои начали сразу с заурядного курортного адюльтера без любви, а кончили сильной любовью. Чехов сотворил нечто обратное тому, "как бывает в жизни", резко опровергнув тем самым ходячее представление об искусстве как иллюстраторе, подражателе жизни.

Сам Чехов говорил с горечью о современных ему

литераторах (в первом лице): "Мы пишем жизнь такую, какая она есть, а дальше — ни тпррру, ни ну... Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей, и в нашей душе хоть шаром покати..." Писатели же, "которых мы называли вечными, ... куда-то идут и вас зовут туда же... у них есть какая-то цель..."

"Дама с собачкой" как раз и представляет собой произведение, ведущее за собой людей. Этот рассказ — событие в духовно-моральной атмосфере человеческого общества. Он предостерегает: не безобразничайте, не кощунствуйте с любовью и близко от любви, ибо место сие свято. Каждый из его читателей получает такое отеческое предостережение. А может быть, существует и прямое невидимое влияние и рассказа и его автора. Ведь ощущал же, например, сам Чехов подобное влияние Толстого в моральной сфере, когда говорил о нем как о гиганте, "нравственное влияние которого настолько велико, что есть люди, которым стыдно делать зло только потому, что живет Толстой".

*

Тысячи километров извилистой береговой линии чуть не всех теплых морей нашей планеты поражены особого рода точечной сыпью — цепью курортов. На курорты люди ездят, как известно, не только для лечения и нормального отдыха, но еще и для особого рода "отдыха", именуемого "встряской" и состоящего в сбрасывании с себя на время, вместе с лишней одеждой, стеснительных форм и норм трудовой, семейной и нравственной жизни. Этот, так сказать, декольтированный и распоясанный отдых в большой мере сводится к тому, что соблазняло и чеховского Гурова — к "скорой, мимолетной свя-

зи... с неизвестной женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии”, к роману, о котором принято потом помнить, как говорят на курортах, лишь ”до первого семафора” по дороге домой и тут же забывать.

Древние пророки призывали на греховные гнезда, вроде Содома или Вавилона, кару огнем и мечом; современный пророк — Чехов — не карает, а лечит современные содомы — курорты — духовной силой искусства, вливанием целительной любви, облучением любовью и состраданием.

Он пришел не как моралист, не как ”сердитый старик” (как он называет Толстого), а как простой, нежный, снисходительный русский человек и художник с высоким душевным строем и девичьей чистотой, имеющий поэтому право и власть говорить вслух и писать о всяких безобразных и злых демонах человечества и даже помогать людям против них. Он смело снизошел в нечистую и удушливую юдоль курортного, да и всякого иного, распутства, принес туда духовный свет искусства и осветил ее, подобно тому, как проводят электрический свет в старый захламленный подвал и вперые освещают там гнилую свалку и разбегающихся крыс. Ведь только после освещения гиблого места может последовать очищение и оздоровление его.

Совершив свой подвиг, Чехов вышел оттуда таким же чистым, каким вошел, и таким же невредимым, каким вышел пророк Даниил из львиного рва.

Такова в общих чертах художественная и нравственная миссия Чехова, выполненная им в рассказе ”Дама с собачкой”.



Валентина СИНКЕВИЧ

«Пойдут стихи мои, звеня...»

ПАМЯТИ И. В. ЕЛАГИНА (1918 — 1987)

8 февраля 1987 года скончался большой русский поэт Иван Елагин (Иван Венедиктович Матвеев). Дед поэта Н. П. Матвеев был журналистом, издателем, автором очерков по истории Владивостока. Отец Елагина поэт-футурист Венедикт Март (Матвеев), погиб в тридцатые годы сталинского террора. Мать была фельдшером. И. Елагин окончил три курса Киевского медицинского института. Во время Второй мировой войны попал в Германию, оттуда в 1950 году эмигрировал в Соединенные Штаты. Здесь пришлось ему взяться сначала за черную работу, потом он был клерком в "Новом Русском Слове", попутно учась в Нью-Йоркском университете. Затем долгие годы преподавал русскую литературу в Питсбургском университете и на летних курсах Мидлберийского колледжа. Елагин интенсивно занимался переводом стихов американских поэтов для журнала "Диалог — США". За перевод эпической поэмы американского поэта Стивена В. Бене "Тело Джона Брауна" Елагин получил докторскую степень. Первый сборник стихов Ивана Елагина "По дороге оттуда" вышел в Мюнхене в 1947 году. Последний — одиннадцатый сборник "Курган" (изд. "Посев") вышел в 1987 году. Похоронен поэт в Питсбурге, шт. Пенсильвания.

О Иване Елагине писали много, почти единодушно признавая за ним право считаться первым среди зарубежных поэтов послевоенного периода. Сейчас, через несколько месяцев после кончины поэта, хочется вспомнить и запечатлеть не только творческий, но и человеческий его облик, — вспомнить хоть некоторые черты характера его, узнать как жилось ему, как творилось.

Да, сознание потери обычно возбуждает интерес к человеку, интерес к его жизни. Однако рассказ о жизни современника всегда неполон, всегда найдутся важные события или черты характера незамеченные или увиденные в каком-нибудь неправильном ракурсе. Но не только поэтому я не берусь за детальный биографический очерк о Елагине. Дело в том, что мы, хотя можно сказать, работали вместе (поэт был постоянным сотрудником редактируемого мною ежегодника "Встречи"), но встречались мы не так уж часто. Обычно мы виделись на поэтических вечерах, или у общих друзей — всегда почти в большой компании, либо на симпозиумах в Норвичском университете — в суеде приездов — отъездов, на университетских обедах среди множества преподавателей и студентов. Лишь однажды, несколько лет назад, гостила я в уютном доме Елагиных в Питсбурге, где буквально все стены увешаны картинами двух друзей поэта — художника Сергея Бонгарта и Сергея Голлербаха. Далеко за полночь тогда Иван Венедиктович читал мне стихи и показывал свои прекрасные переводы американских поэтов. И однажды останавливался он у меня в доме, когда выступал в Филадельфии на славистской конференции.

Тогда впервые я заметила два оттенка в характере Ивана Елагина: гордость и печаль. Есть это и в его творчестве. Была в нем также твердая уверенность в себе, то есть в своем мастерстве и вместе с тем какая-то необыкновенная незащищенность, ранимость, оставшиеся у него до последних дней. Поэта могло глубоко задеть какое-нибудь неверное высказывание о его стихах и необыкновенно обрадовать внимание к его творчеству. Очень обостренно воспринимал Иван Венедиктович и высказывания о России и русских в целом. Помню, как горячо он спорил с балтийским поэтом, обвинявшим Россию и русских в империализме и национализме.

О жизненном пути Ивана Елагина еще напишут близкие друзья его. Мне же, по воле судьбы, пришлось довольно часто видеть поэта в последние дни его жизни. Вот об этом я могу сказать хотя бы несколько слов, поскольку в отличие от многих в таком положении, поэт не скрывал своей болезни и рад был вниманию, которое все старались оказать ему.

Весть о тяжком и неизлечимом недуге поэта быстро облетела друзей и знакомых И. Елагина. О недомогании говорил он еще летом 1986 года. Уже тогда выглядел усталым и стал терять вес. Можно было увидеть даже непрофессиональным глазом, что болезнь серьезна. Наконец врачи поставили точный диагноз: рак поджелудочной железы. Согласно современной американской медицинской этике они ничего не скрывали от пациента. Он понимал, что обычное лечение — хирургия, радио- и химиотерапия при данном виде рака бессильны. Смотрел он на свое положение трезво. Терпеливо переносил боли — от них нужно было принимать наркотики. Как-то в разговоре со мной по телефону

даже поблагодарил судьбу за то, что послала ему именно этот быстротечный вид рака.

Нужно сказать, что Иван Венедиктович имел верных друзей и сам был верен в дружбе. До самой смерти сохранил он теплые отношения со старыми друзьями — некоторые дружеские связи тянулись еще от ранней молодости — из Киева. И здесь за границей, в трудную минуту жизни друзья его не оставили: навещали, звонили, всячески пытались помочь словом и делом, хотя понимали, что в главном помочь бессильны: поэт умирал.

Последней большой для него радостью была книга избранных стихотворений "Тяжелые звезды". Этот сборник он еще успел увидеть перед самой своей кончиной. Поэт давно уже мечтал о таком сборнике и с горечью жаловался, что нет издателя. И вот близкие друзья Елагина Татьяна и Андрей Фесенко, знавшие поэта еще по Киеву, решили сделать ему прощальный подарок — издать книгу новых стихов поэта. А Леонид и Агния Ржевские расширили добрый замысел, собрав среди друзей поэта средства на большую книгу, о которой так мечтал Иван Елагин. Составителем сборника был проф. Л. Д. Ржевский. Свой труд он закончил, но книги не увидел, — скончался от сердечного приступа накануне выхода "Тяжелых звезд" — за 3 месяца до смерти Елагина. Потерю долголетнего верного друга умирающий поэт воспринял очень болезненно. "Умер последний джентльмен", — сказал он мне по телефону. Иван Венедиктович писал на семидесятилетие друга:

.... Пусть время несет меня по волне,
Давно я пустился вплавь!
Но в день, когда семьдесят стукнет мне,
Ты тоже меня поздравь!

Увы, пожелание не исполнилось. Поэт даже сам не дожил до своего семидесятилетия.

Некоторые друзья просили Ивана Венедиктовича все же лечиться; что-то советовали, где-то узнавали даже о каких-то "колдовских" средствах лечения. Но он упорно от всего отказывался. И только, когда поэтесса Елена Дубровина, работающая в Филадельфийском медицинском институте, проводящем экспериментальные работы в области лечения рака, рассказала ему о новом терапевтическом методе: введение в кровь моноклонных антител, поэт согласился пройти курс лечения в Филадельфии. Здесь врачам удалось спасти четырех больных раком поджелудочной железы. Об этих случаях писали в газетах, говорили по радио и по телевидению.

16 декабря прошлого года художник Владимир Шаталов и я встретили Ивана Венедиктовича на Филадельфийском аэропорту. Прилетел он со своей дочерью Еленой Матвеевой, профессиональной сестрой милосердия, трогательно ухаживающей за больным отцом. Неимоверно исхудавший, с большими страдальческими глазами, в инвалидной коляске, Иван Венедиктович улыбнулся и сказал: — "изменился я, не правда-ли?"; голос был глухим и слабым. Мучили его не только боли — от них он принимал лекарства, но и приступы тошноты. Он почти ничего не ел.

Но страха перед близкой кончиной или уныния я не заметила. Тихим голосом, почти шепотом, поэт говорил о своей книге "Тяжелые звезды". Она его радовала. Он подписывал ее своим друзьям, очень хотел чтобы побольше экземпляров попало в Россию — "ведь это 80 процентов всего, что я написал. Больше я уже ничего не напишу". Поэт ошибся.

Филадельфийские врачи сразу же сказали (но не в глаза пациенту), что пятым спасенным ими Иван Елагин не будет. Однако, обещали облегчить общее его состояние. И обещание сдержали. Поэт почувствовал себя гораздо лучше после первого введения моноклонных антител. Здесь, конечно, был большой психологический фактор — появилась хоть и слабая, но все же надежда на выздоровление. Врачи объяснили, что по непонятным для них причинам, все больные чувствуют себя значительно лучше в самом начале курса лечения. Но это еще не значит, что пациент на пути к выздоровлению.

Так или иначе, в Филадельфии поэт вдруг почувствовал некое возвращение к жизни. Об этом он говорил многим по телефону. И даже голос его стал приобретать почти прежний тембр.

За несколько недель до приезда в Филадельфию Иван Венедиктович прислал мне новое свое стихотворение для "Встреч". "Напечатайте это четверостишие после моей смерти", — попросил он. В стихотворении говорится, что самая обыкновенная вещь — смерть. Лишь жизнь является чудом. Когда поэт почувствовал себя лучше он сказал мне: "Если я выздоровлю — стихотворение не печатайте".

Лечение не требовало госпитального режима, — в госпитале поэт провел всего лишь около недели. Во время лечения дольше всего жил он в доме В. Шаталова. Там самоотверженно и неустанно ухаживали за больным его дочь и жена Ирина Ивановна. Вскоре после приезда в Филадельфию, Иван Венедиктович был в состоянии некой эйфории. Именно здесь в последний раз к нему вернулось желание писать стихи. Как он радовался этому!

Недавно друг Елагина Сергей Голлербах написал, что часто поэта вдохновляли живописцы. И

вот сейчас, увидя поразивший его портрет Гоголя кисти В. Шаталова, он написал об этом портрете последнее свое стихотворение. Удивительно, что в семистрофном стихотворении этом, написанном за полтора месяца до смерти — нет ни слезы, ни жалобы:

... Портрет, что Гоголю под стать,
Он — Гоголева исповедь,
Его в душе воссоздавать,
А не в музее выставить,

Его не только теплота
Высокой кисти трогала,
Но угнездились в нем места
Из переписки Гоголя...

Это гимн поэта художнику и писателю. Высокое триединство: поэта, художника и писателя. Иван Венедиктович был счастлив, что смог еще высказать восторг художника перед произведением другого художника. (Портрет Гоголя он попросил поставить на мольберт перед своей кроватью в доме Шаталова.)

В это короткое "доброе время" я наблюдала как радовало поэта доброе к нему отношение собратьев по перу. Звонил Бродский. Через американского переводчика Е. Евтушенко проф. Тогда стало известно, что из Москвы позвонит Евтушенко. Иван Венедиктович очень дорожил знакомством с советским поэтом — ведь это была непосредственная связь с Родиной, которую он любил, будучи непримиримым врагом режима. (К сожалению, свое обещание Евтушенко не исполнил. Не позвонил.) Помню, в доме Шаталова, под тихие звуки классической музыки, поэт говорил — как хочется

ему, чтобы побольше его книг попадало в Россию.

На мой вопрос — кого бы он посоветовал мне напечатать во "Встречах" в разделе "Из зарубежного поэтического наследия", Елагин назвал Ивана Савина. Интересно, что за всю свою карьеру американского профессора-слависта Иван Елагин написал всего лишь одну рецензию — она была на книгу стихов Белого воина трагической судьбы Ивана Савина. Узнав, что у меня нет книги Савина "Ладонка", Елагин пообещал мне ее прислать.

Потом мне рассказывала Елена Матвеева, что за день до смерти отца, она увидела, как он, еле держась на ногах, начал искать что-то на полках с книгами. Узнав, что он ищет "Ладонку", она пообещала найти ее и послать мне. Иван Венедиктович все же сам отыскал книгу и дал ее дочери со словами: "пошли ее Вале". Здесь было не только дружеское расположение ко мне, но и профессиональное чувство долга, которое многие так ценили в Иване Елагине. Он был требователен не только к другим, но и к себе. Не ошибаясь, присылал "свежие" стихи для первой публикации, всегда вовремя, хотя в случае со "Встречами" публикацию своих стихов авторы ожидают около года.

Был ли Иван Елагин верующим человеком? В общем да, хотя не был он таким убежденно не только верующим, но и церковным человеком, каким была его первая жена поэтесса Ольга Анстей, с которой новая семья поэта оставалась в исключительно дружеских отношениях. О непоколебимой вере Анстей и о ее семнадцатилетней борьбе с той же болезнью — раком, Елагин всегда упоминал с глубоким уважением. "В этом отношении мне с Люшей не тягаться", — говаривал он. Помню,

в больнице, на его страшно исхудавшей смуглой груди блестел серебряный крестик.

С Владимиром Шаталовым он часто обсуждал судьбы искусства на Западе. Как-то незадолго до смерти поэт продиктовал дочери записку художника: "Скажи Володе, что мне сейчас трудно говорить и думать. Но вот, что ему завещаю: чтобы в своей концепции искусства он оставил место для Божьей правды и Божьей благодати, так как с ними мы обретем свободу, а не станем превращаться в роботов".

Новый 1987 год Иван Елагин встретил в кругу семьи в Питсбурге. Но в январе он все же приехал в Филадельфию на лечение. И тут сразу же было видно, что конец близок. Понимал это и поэт. Никакой — даже слабой надежды уже не было. "Процесс болезни идет быстрее процесса выздоровления" — заметил он. Однако был доволен, что участвует в серьезном медицинском эксперименте.

Поэт продиктовал дочери траурное объявление о своей смерти. По-прежнему слушал он тихо играющую классическую музыку, но говорить уже не было сил. Накануне его отъезда в Питсбург я приехала к нему попрощаться. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами, укрытый электрическим одеялом, так как все время зяб. Вдруг, открыв глаза, он спросил меня: "Как фамилия режиссера, хвалившего мои стихи на выступлении в Бостоне?" — "Любимов?" — спросила я. "Да, Любимов. Я никак не мог вспомнить его фамилию". И снова закрыл глаза. Говорить не было сил. Мы долго сидели еще внизу в столовой — с женой, дочерью и с хозяином дома Владимиром Шаталовым.

6 февраля перед посадкой на самолет, Иван Венедиктович сказал провожавшему его Владимиру Шаталову, как он рад, что закончил свой творческий путь стихотворением о Гоголе, а не плачем о себе.

Утром через два дня в Питсбурге скончался Иван Елагин. Семья похоронила его в том же городе — к нему он привык за долгие годы. Здесь он жил и здесь он работал.

Сейчас приходит на память одно из самых вдохновенно-красивых стихотворений Ивана Елагина:

Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается доньше,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.

(*"Тяжелые звезды"*, с. 63.)

Вечная память Поэту!

II

Поэзия Ивана Елагина рождалась на стыке двух трагедий — сталинский террор и Вторая мировая война. Говорить о стихах Елагина нельзя без ссылок на время, на нашу эпоху, ибо она создала его, мучила и вдохновляла его. Острое чувство трагического было у поэта до последних дней.

Иван Елагин оставил нам большое наследие: свидетельство поэта о судьбе его поколения, жившего в одно из самых трудных времен русской истории.

Ты сказал мне, что я под счастливой родился
звездой,
Что судьба набросала на стол мне богатые яства,

Что я вытянул жребий удачный и славный...

Постой —

Я родился под красно-зловещей звездой
государства!

Я родился под острым присмотром начальствен-
ных глаз.

Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного яблочка пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати...

(“ТЗ, с. 207.)

Некоторые стихи поэта созвучны русским футуристам. Есть в них монументальность, четко пульсирующий ритм, обличающая нота, особый пафос, — однако нет “ораторства”, “громогласности” и некой вульгарности, — все же присущей футуристам. Строки его “мускулисты”, но не грубы, реалистичны — в самом широком понятии этого слова, — даже тогда, когда появилось у него некое “галлюцинированное” в гротескных “театральных” стихах. Нет у Елагина туманности, недосказанности и утонченной странности многих поэтов нашего Серебряного века, или “тихого голоса” поэтов “парижской ноты”.

Елагин избегал формальной новизны эксперимента ради (в строфике тоже). Он оставался поэтом традиционным — опять-таки в широком понимании этого термина, ибо не мог он не знать, что природа искусства не меняется, меняется лишь форма его. Но сколько абсурдного появляется на свет Божий от неумелой ломки установленного, принятого, от полного отрицания старых форм и традиций.

... Неужели все кончится бредом горячих голов,
Тех, что мир оглашают не словом, а ревом
пещерным,
И подобно саркомам, гангренам и гнойным
кавернам
Ополчились на плоть первозданных, осмысленных
слов?

”ТЗ”, с. 278.)

Елагин не фиксировал внимания на деталях, не был фрагментарен, — он добивался общей выразительности, — смысловой и структурной, четкости метафор и четкости словаря. Ничего не продуманного, ничего приблизительного. Читая стихи Елагина не спрашиваешь: о чем они? Что хотел выразить поэт? Нередко Елагин использовал народную песенную стихию слова.

Две последние книги Ивана Елагина ”Тяжелые звезды” (”Эрмитаж”) и ”Курган” (”Посев”) вышли из печати почти одновременно: первая в конце 1986 года, вторая в начале 1987 года, вскоре после смерти поэта.

”Тяжелые звезды” — ”Другиздат” назвал это издание поэт, была щедрым даром друзей — поэту. Создавалась книга буквально в мгновение ока. Торопились все — составитель, художник, издатель, чтобы успеть преподнести ее умирающему поэту. Все понимали, что времени оставалось очень мало. Художник Сергей Голлербах летал к Ивану Венедиктовичу в Питсбург с эскизом обложки. Составитель книги проф. Леонид Ржевский работал денно и нощно, выбирая стихи для печати, во всем согласовываясь с поэтом. Это было поистине необыкновенное содружество двух друзей на пороге смерти — оба умерли в течение трех месяцев.

Л. Ржевский предложил поэту много вариантов названия книги. Наконец поэт остановился на "Тяжелых звездах" — по-моему удивительно удачном названии, ибо звезды — центральная метафора в поэзии Елагина. Взято название из строчки елагинского стихотворения 1973 года: "В тяжелых звездах ночь идет". Какое-то количество экземпляров отпечатали в твердом переплете — эти книги поэт увидел за два дня до смерти. Дарственные надписи на них сам он делать уже не мог.

Стихотворения в "Тяжелых звездах" перепечатаны в хронологическом порядке из ранее вышедших сборников поэта. В каждом разделе указаны название и дата выхода сборника из печати. В конце книги помещены новые стихи (1983—1986 гг.), печатавшиеся лишь в зарубежных периодических изданиях. (Два самых последних стихотворения — четверостишие о жизни и смерти и "Гоголь" в сборник уже не попали). Этот раздел чрезвычайно интересен, так как это последний творческий путь поэта.

Начинается книга известным ранним стихотворением Елагина:

Родина! Мы виделись так мало,
И расстались. Ветер был широк,
И дорогу песня обнимала —
Верная союзница дорог...

(*"ТЗ"*, с. 9.)

Стихи Ивана Елагина не узко автобиографичны, — в них есть обобщенный образ человека особой судьбы, человека жившего в судьбоносное время.

... Я не знаю, с какой мне звездой по пути.
Мое время меня разорвало на части...

(“ТЗ”, с. 239.)

... Мы выросли в годы таких потрясений,
Что целые страны сметали с пути...

(“ТЗ”, с. 326.)

Сейчас, вполне по-человечески можно спросить:
чувствовал ли поэт приближение болезни и смерти?
Судя по разделу “Новые стихи” — да.

Меж небом и землю в коридоре,
Похожие на поседевших птиц,
Мои друзья и я в житейском море
Качаемся на палубах больниц.

.....

Спеша путем подъемов и обвалов,
Мы чувствуем по холоду в груди,
Что никаких других уже не будет палуб,
Что гавани остались позади.

(“ТЗ”, с. 329.)

Или конец стихотворения:

... Скоро с этого аэродрома
Ты отправишься, мой самолет,
В неизбежный, крутой, незнакомый,
Невозвратный, последний полет.

(“ТЗ”, с. 338.)

Хочется отметить и первое стихотворение из
раздела “Новые стихи”. В нем поэт дает заглавными
буквами названия своих сборников.

Нынче я больше уже не надеюсь на чудо.
Бога прошу, чтоб меня не сломила беда.
Все, что я мог, я сказал ПО ДОРОГЕ ОТТУДА,
Только теперь я уже по дороге туда.

Книги названье — для домыслов острая пища.
Только названье мое говорило о том,
Как продолжается жизнь по дороге с кладбища,
Смыслы другие пристали к названью потом...

(“ТЗ”, с. 311.)

Поэт знал, что название его первого сборника “По дороге оттуда”, многие интерпретировали неверно. “Оттуда” — не из России, а с кладбища, где в Германии, с первой своей женой Ольгой Анстей, поэт похоронил дочь, умершую в младенческом возрасте. Есть у него раннее стихотворение, приведенное в сборнике, кончающееся строфой:

...Мы с тобой по дороге о т т у д а ...
И расскажем мы, сидя в тепле,
Как мы наше короткое чудо
Незнакомой отдали земле.

(“ТЗ”, с. 36.)

Творчество Ивана Елагина можно разделить на несколько основных частей — Советская Россия: сталинский террор и отрыв от Родины; Вторая мировая война; Америка: Запад глазами русского поэта. И особая тема: призвание поэта.

Отрыв от Родины был для Елагина трагичен. Он тянулся т у д а, к множеству своих потенциальных читателей. Но ни забыть, ни простить не мог. Об этом говорят его стихи. Но знал он, что хотя в Россию уже не вернется, они, его стихи, будут там — не сегодня, так завтра: “...Пускай сегодня я не в

счет, / Но завтра может статься, / Что и Россия за-
черпнет / От моего богатства...” /”ТЗ” с. 145/ А
землю свою любил он верной, сыновней любовью. И
покуда жив был поэт, жива была и память о родном
крае:

... Где-то — старого Света оставленный край:
Дом. Каштан. Потемневшие стекла аптеки.
Сколько жизни моей там осталось навеки —
Если хочешь, попробуй, поди, подсчитай...

(”ТЗ”, с. 239.)

Пожалуй никто из русских зарубежных поэтов
не смог увидеть трагедию войны и почувствовать
атмосферу гибели и описать это так, как Елагин.
Его ”германский” период творчества — ценный
вклад в сокровищницу русской поэзии. Стихотворе-
ние ”Уже последний пехотинец пал” можно счи-
тать хрестоматийным. Его знали все, кто любил
поэзию. Поэт читал его несметное количество раз.
Помню, на одном из своих выступлений в Филадельфии,
Иван Венедиктович взмолился: ”не просите
меня читать ’Пехотинца’ ”. Лично для меня это
стихотворение было моим первым знакомством
с поэзией Елагина. Стало сразу понятно, что есть у
нас большой поэт. Случайно таких стихов не пишут.
Не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы
двух стрóf этого четырехстрóфного стихотворе-
ния:

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море,
И на путях дымятся груды шпал,
И проволока вянет на заборе.

Они молчат — свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене

И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени...

(“ТЗ”, с. 34.)

Тот, кто был в Германии во время и после войны, поймет насколько гениален этот образ моста, упавшего на колени. Здесь до предела обострено поэтическое зрение и мышление. Или: “Мученический венец — /Проволоки колючей”. Или строфа из “Осады”:

... Усталый, голодный, военный —
Ты скорчен в предсмертном броске,
И бьется затравленной веной
Нева у тебя на виске!

(“ТЗ”, с. 23.)

Или трагический фарс:

... Милый ад: ни пушек, ни ружей...
Старый ад с хромым сатаной!
Чем он хуже кровавой лужи,
Именуемой — шар земной!

(“ТЗ”, с. 24.)

И сквозь все творчество поэта елагинские звезды, — сколько их, перевоплощающихся в поэтовое настроение и вписывающихся в его темы.

... А в августе звезды летели за мост.
Успей! Пожалей!.. Загадай! Но о чем бы?
Проторенной легкой параболой звезд
Летели на город голодные бомбы.

(“ТЗ”, с. 29.)

”Я дам тебе белую ночь / В городе над Невой, / И ты ощутишь звезду, / Как ощущают укол”.

...”Вслушайся в звездную ночь одиночества...”.

”—Вот они! Запомни их навеки! / То Господь бросает якоря!” — эти последние две строчки произносит в поэме ”Звезды” отец Елагина — ”поэт седой и нищий”, погибший в 30-х годах террора. И наконец — ”Это за мною придут мои звезды — пора!..” Как характерно, что в тяжелое время последнего земного пути, Иван Елагин назвал свою книгу избранных стихотворений — ”Тяжелые звезды”.

Нужно отметить, что у Елагина мало любовной лирики. Помню, как на одном поэтическом вечере в Нью-Йорке, слушательница воскликнула: ” — А где же стихи о любви?” Действительно, их почти нет, но зато те, которые есть, могут быть отнесены к лучшим образцам этого жанра. Например, эти взволнованно-вдохновенные строки из пятистрочного стихотворения — привожу только первые две строфы:

Их было много — золотистых ливней.
Тебя ломали страстные струи,
Но с каждым днем глядели все наивней
Глаза ошеломленные твои.

Я шел на них! И падал под ударом!
/Господь, глаза ее умилосердь!/
Так тянутся к автомобильным фарам,
Несущим ослепительную смерть...

(”ТЗ”, с. 31.)

И две последние строчки этого же стихотворения: ”Из всех небесных, всех земных сокровищ / Я только глаз твоих не целовал”. Интересно, сколько поэтов написали бы ”губ” вместо ”глаз”. Размер ведь тот же. Но здесь по-видимому есть скрытая метафора звезд, как есть она в другом стихотворе-

нии, где о глазах женщины сказано, что они "Как лунных два осколка" ("ТЗ" с. 86.)

В Америке у Ивана Елагина появились новые ноты, новые оттенки красок. (Можно написать отдельную статью о том как хорошо он видел краски вокруг.) Стихи лились и здесь — длительных периодов молчания у поэта не было. Но появлялись стихи менее трагические; поэт воспекает земные радости, иронизирует над собой и окружающим. Ведь жизнь, она и заключается "В трех радостях, в тех бедствиях, в той доле, / Которая мне на земле дана".

Здесь же появились замечательные "городские" стихи Елагина. Глубокими ассонансами живописует поэт пейзаж с плоскими стенами небоскребов: "Как попал я сюда, где воздвигнуты / Эти каменные вертикали?" Елагинский город — это несколько абстрагированная словесная "графика".

Многое не принял поэт на Западе, почувствовав бездушность механизированного современного города, его порочную ночную жизнь, его антидуховность.

Ходят парни, увешаны бляхами,
Ходят девки в штанах раструбом.
И на шеях болтаются, брякая,
Амулеты с акульим зубом...

("ТЗ", с. 160.)

В этой совершенно чуждой ему атмосфере поэт ощутил нечто для себя нереальное, некую театральность окружающего и остро почувствовал одиночество. Он увидел себя актером, играющим что-то свое самому себе. "Театральные" его стихи гротескны и несколько сюрреалистичны. "... здесь у самого края, / Сцены, живущей века, / Зрителя я играю, / И роль моя коротка" ("ТЗ" с. 267). Или:

... Я там веду с собою разговор,
В моем театре я распорядитель,
И композитор я, и осветитель,
И декоратор я, и режиссер,
И драматург я, и актер, и зритель.

(*"ТЗ"*, с. 214.)

В этом мире и он и поэзия его были иностранцами. "Я — человек в переводе, / И перевод плохой".

... Оригинал видали, —
Свидетели говорят, —
В Киеве на вокзале,
Десятилетия назад...

(*"ТЗ"*, с. 168.)

* * *

Последний сборник поэта "Курган" — книжка небольшого формата. На черном фоне название — буквами цвета крови. Размещены они на подобие холма. (Художник В. Филимонов.)

Стихи для этого сборника Иван Елагин отбирал еще сам. Все они объединены темой гибели человека в годы террора. Собранные вместе они составляют страшный документ времени. Но в них — помимо правды исторической, есть и правда настоящей поэзии.

Творчество Елагин понимал как благородное и глубокое применение Идеи к искусству. В этом смысле он поэт гражданский и очень русский — многие наши писатели так понимали свое призвание. Идея у Елагина выражалась в неприятии и в осуждении того строя из-за которого он потерял Родину.

”Курган” воскрешает память, убаюканную совершенно иной жизнью на Западе.

... Разве мы забыли за год,
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Черные автомобили.

И замученных, и сирот,
Неужели мы все забыли?

(”К”, с. 7.)

Или эти двестишися:

А называют землю Колыма.
/Над общей ямой ледяная тьма./

А есть еще другая — Воркута.
/Не сыщешь ни могилы, ни креста./ ...

(”К”, с. 17.)

Есть в ”Кургане” ”кровная” для поэта тема: обыск и арест. Вот из знаменитого стихотворения ”Звезды”:

... Рукописи, брошенные на пол.
Каждый листик — сердца черепок.
Письмена тибетские заляпал
Часового каменный сапог...

(”К”, с. 9.)

Снова и снова память поэта ведет туда же:
”... Увезли куда-то. / Где он — не узнаем. / Детство
мое изъято, / Смех за вечерним чаем...”

(”К”, с. 23.)

И это:

Год прошел, как поутру,
После ночи долгой,
Он по нашему двору
Уходил с кошелкой.

И с ружьем наперевес
Шел за ним военный,
И отец навек исчез
Где-то во вселенной...

(“К”, с. 30.)

В одном из стихотворений поэт пишет:

... Говорят — вспоминать не надо.
Лучше будь, как другие рад,
Что достал кило мармелада...

(“К”, с. 38.)

Но Елагин не мог не вспоминать. Поэтому в одном из самых пронзительных, самых горько-иронических стихов — “Амнистия”, написанном в редкой для поэта манере — нерифмованным верлибром, он говорит о каждом человеке, участвовавшем в уничтожении отца — от следователя до расстреливавшего — и в заключение восклицает: “... Я слышал, / Что все эти люди / Простили меня”. (“К”, с. 37.)

С этим сознанием страшной беды в родном краю жил поэт всю свою зарубежную творческую жизнь. Но в своем призвании быть поэтом — не сомневался до последнего вздоха, ибо:

... Знал я, зубами клацая,
Знал я, ремень прикручивая,
Что у меня акции
Самые наилучшие.

Что я, по воле дивного
Случая и не случая —
Аукционер правдивого
Великого и могучего.

(*"ТЗ"*, с. 144.)

Поэтому творчество этого поэта не забудется и там, на Родине. Об этом он знал:

... Пойдут стихи мои, звеня,
По Невскому и Сретенке.
Вы повстречаете меня,
Читатели-наследники...

(*"ТЗ"*, с. 145.)

Иван Елагин выполнил высокий долг — не растерял в суете жизни дар, данный ему Богом.

... Так и умру ожидая, чтоб эта строка
Неизгладимо по сердцу тебя полоснула.

(*"ТЗ"*, с. 286.)



Евгения ФРЭЗЕР

Дом на Двине

Посвящается моему отцу

Часть I

КОГДА ВСЕ БЫЛО МОЛОДО

1912 год

Глава 1

Я помню станцию. Николаевский вокзал называлась она тогда. Я помню холод и темноту, и моего отца, державшего меня за руку. В другой руке у него был небольшой сверток, и он все повторял мне, что это для меня и что я должна развернуть его в вагоне, когда тронется поезд.

Моя мать, в коротком котиковом жакете и в маленькой шляпе на темных волосах, стояла напротив. Возле нее Петя Емельянов, молодой человек,

Перевод с английского Ольги Арнаутовой. Главы из книги, выходящей в изд. "Посев—США".

друг нашей семьи. Он учился в Петербургской консерватории и ехал домой на рождественские каникулы. Петя должен был сопровождать меня в долгой поездке до Архангельска и там сдать моей бабушке.

До этого я, мой младший брат и мама гостили у моих шотландских бабушки и дедушки в Броути-Ферри, а потом в Гамбурге, где мой отец провел некоторое время по своим торговым делам. В Гамбурге, перед отъездом в Петербург, я заболела плевритом. И теперь мои родители, которые должны были еще некоторое время оставаться в Петербурге, решили, что сухой и морозный климат дальнего севера будет для моего здоровья лучше, чем сырость и туманы Петербурга. К тому же в Архангельске меня должны были готовить к вступительным экзаменам в гимназию, куда мне предстояло поступить следующей осенью.

Много знакомых пришло на вокзал провожать меня, но их образы давно забыты. Я помню лишь мигающие и вспыхивающие огоньки, освещавшие на миг лица нашей небольшой группы, которая потом снова погружалась в темноту.

Мои родители, взволнованно улыбаясь, все время обращались ко мне, стараясь ободрить, но вместо этого передавали мне свою грусть и озабоченность: это была наша первая разлука. Первая из многих.

В поезде нам предстояло провести два дня и две ночи. Мимо проносились бесконечные леса и снега, пустынные поля, темные деревни в сугробах. Серые железнодорожные станции появлялись, мелькали и исчезали.

В купе кроме нас были два молодых купца, ехавших в Вологду. Моя койка была наверху, над Пе-

тиной. Когда Петербург остался позади, я, сидя на своей уютной полке, развернула сверток и с восхищением рассматривала свой подарок. Меня никогда чрезмерно не баловали сладостями и подарками — и вот передо мной коробка шоколадных конфет, вся для меня!

И это не была просто какая-то коробка конфет. За день до моего отъезда мои родители со мною и моим братом отправились гулять по Невскому. Было чудесное зимнее утро — солнце, мороз, искрящийся снег. Невский проспект, всегда прекрасный, готовился к Рождеству и был празднично нарядным. Витрины магазинов, как драгоценными камнями, сверкали всевозможными украшениями, были наполнены богатыми и разнообразными товарами. Мы медленно прогуливались и остановились у витрины известного кондитерского магазина. Здесь, на фоне черного и малинового бархата были выставлены коробки с шоколадными конфетами. Все конфеты были одной формы — в виде мышки. Светлосерые, с малиновыми ошейничками, с красными бусинками глаз, они шевелили серебряными хвостиками. Коробки были всех размеров — от самых маленьких до самых больших. И отталкивая, и очаровывая, мышки привлекали толпы людей.

Меня с трудом оторвали от витрины и никто не обращал внимания на все мои просьбы купить мне такую коробку. И вот теперь она лежит у меня на коленях.

Я осторожно открыла крышку. Там, завернутые в серебряную фольгу, аккуратно сложенные головка к хвостику, ровными рядами лежали шоколадные мышки с маленькими красными ошейничками. Я решила, что никогда не трону ни одну из них, никогда не нарушу превосходного порядка, в ко-

тором лежали эти маленькие существа. Но потом я долго играла этой коробкой, вынимала мышек и вкладывала их обратно, и в конце концов устала и положила ее под подушку.

Тем временем внизу Петя и двое молодых людей разговаривали и смеялись, как будто знали друг друга всю жизнь. Свесив ноги, я сидела и слушала разговор, который мне не всегда был понятен. Один из молодых купцов громко и заразительно хохотал. Похоже было, что он обладал бесконечным запасом шуток и прибауток. Временами, глядя на меня, он подмигивал, улыбался, как будто мы с ним обладали каким-то секретом, и говорил: "Не так ли, Женечка?" И я, чувствуя его доброжелательность, кивала и улыбалась, хотя не понимала его вопросов.

Все это было очень странно. Мне еще не было и семи лет, а я путешествовала одна в компании взрослых.

Наступил северный вечер. За темными, разукрашенными причудливыми узорами, окнами невозможно было ничего различить. Мерно постукивали колеса, повторяя однообразную, грустную, убаюкивающую песню.

Вошел проводник, неся поднос, заставленный кружками с чаем. Появились корзинки с едой. Я с интересом следила, как их открывали и вынимали завернутые в полотняные салфетки пирожки, ватрушки, сладкие и сдобные булочки, всю ту снедь, которая дорога каждому русскому.

У меня осталось очень смутное воспоминание о ребенке, сидящем на верхней полке и благодарно принимающем все, что молодые и добродушные люди ему передавали. Многие из впечатлений от этого долгого путешествия выпали из памяти.

Один из молодых людей достал балалайку. Пере-

бирая струны, он запел народную песню. Петя присоединился к нему, и полилась песня, то глубокая в своей тоске, то мятежная и порывистая, стремящаяся ввысь. И в первый раз в мое юное сердце влилась сама Россия.

Ни я, ни другие пассажиры, столпившиеся возле нашего купе, не знали, что слушают певца, уже известного на севере. "Северный соловей" — так прозвали у нас Петю Емельянова. Он часто бывал у нас в доме. Когда его просили спеть, он садился за рояль и мягким голосом начинал какой-нибудь романс или народную песню. Где бы я ни была в тот момент, я оставляла все и спешила в гостиную, чтобы стать возле Пети и слушать.

*

Белесый зимний рассвет постепенно пробился сквозь морозные окна. Появился кондуктор с чаем и румяными калачами. Люди просыпались, слышался смех и говор, начинался новый день. Взошло солнце и вагон наполнился мягким светом. Я стояла в коридоре, глядя сквозь маленький незамерзший уголок окна, за которым проносились и навсегда исчезали зимние пейзажи. Телеграфные столбы, полустанки, появляющиеся на миг, аккуратные поленницы...

И лес. Бесконечные ряды берез в серебристом уборе, теснящиеся друг к дружке ели, укрытые снегом, застывшие в зимнем сне. Сверкающие сугробы на чернозеленом фоне лесов. Все неподвижно, безжизненно. И только птица, испуганная мчащимся чудовищем, взлетела и исчезла в лесах.

Поезд начал замедлять ход и в вагоне поднялась суматоха: мы приближались к Вологде. Пассажиры собирали вещи, бегали по коридору, прощались

друг с другом. Некоторые уже подъезжали к дому, другим, как нам, оставались еще день и ночь пути: только завтра мы будем в Архангельске. А там еще поездка на лошадях.

Двое наших друзей выходили в Вологде, а нам тут надо было пересесть на поезд, идущий на север, — и мы решили пообедать вместе в станционном ресторане. Петя помог мне надеть шубу, валенки и повязал платок поверх меховой шапки. После теплого вагона холод казался мне невыносимым, но толпа пассажиров его не замечала.

Станция была полна людей — они толкались, спешили, смеялись и переговаривались. А над ними легкими облачками вился пар от дыхания. Вологда была важным узловым центром. Отсюда поезда следовали в Сибирь, в Архангельск, Москву и Петербург. Здесь были и бедные, и богатые, и на всех лежала печать их класса и общества. Крестьяне с обветренными лицами, в мешковатой одежде, с котомками за плечами куда-то спешили, проталкиваясь сквозь толпу. Они ехали в "твердом" вагоне по самому дешевому билету. Богатый купец и его молодая жена, в хорошо пригнанном жакете и цветастом платке обрамляющем ее круглое личико; важная барыня с детьми и сопровождающей их гувернанткой медленно пробиралась к вагону первого класса. Ее муж, без сомнения богатый землевладелец или важный чиновник, со скучающим видом следовал за ними. Группа веселых молодых офицеров куда-то рассеянно пробиралась сквозь толпу. Здесь чувствовалась та неопределяемая атмосфера, которая охватывала все. В своем замечательном прологе к "Руслану и Людмиле" Пушкин назвал это "русским духом". Это совокупность множества понятий: настроение, душа, запах, все то, чем

дышит Россия. Во всей огромной России каждый знает это — в городах и деревнях, по рекам и полям, в беспредельных степях.

В ресторане пахло едой, свежими полотняными скатертями и березовыми поленьями, весело потрескивающими в печи. В глубине была высокая стойка. На ней — ряды разнообразных бутылок, дымящийся самовар, стаканы и чашки. Мы сели за стол возле входа. Половой в белом переднике принес поднос с закусками — селедкой, икрой, солеными огурцами, грибами и, конечно, неизбежной бутылкой водки. Потом последовали другие блюда.

Я с удовольствием наблюдала за публикой. Петя и наши новые знакомые разговаривали, смеялись, подкладывали мне на тарелку еду. Люди беспрерывно входили и выходили. Каждый раз, когда открывалась дверь, в зал врывалась струя морозного воздуха и чистый запах снега.

Вдруг резко прозвучал звонок и громкий голос объявил: "Пассажиры на Архангельск!". Петя встал. "Время идти, Женя!", сказал он и взял меня за руку. Мы вышли на мороз и медленно двинулись к поезду. Меня вдруг охватил страх, что мы опоздаем и никогда не увидим Архангельск. Я бы побежала к поезду, если бы меня не удерживал еще больший страх затеряться в толпе.

Прозвучал второй звонок. Я помню, что меня подняли, поцеловали трижды по-русски и втолкнули в вагон. "Прощайте! Приезжайте в Архангельск!" Обычные, искренние фразы при прощании, которые потом быстро забываются. Третий и последний звонок. Поезд тронулся, колеса опять начали свое монотонное постукивание. Завтра мы будем в Архангельске!

В наше купе снова сели два молодых человека. Они играли в карты и много говорили, не обращая на меня внимания. А я снова стояла у окна и смотрела на леса, которые казались все темнее и отчужденнее, чем дальше мы пробегали на север. Иногда поезд останавливался на какой-нибудь станции. Хлопанье дверьми, громкие голоса, одни пассажиры сходили, другие садились в поезд. Солнце из золотисто-желтого стало темно-пурпурным и исчезло за верхушками леса.

Спускалась ночь. Я смотрела в темноту, но там ничего не было видно, кроме мелькающих вдали огоньков. Петя встретил в поезде еще несколько знакомых и взял меня с собой в их купе. Там тоже входили, выходили и, как обычно, вели нескончаемые дискуссии. А время текло так медленно! Я взобралась на свою полку и играла шоколадными мышками, которые стали мягкими и начали терять форму. И сегодня я уже не могу вспомнить, что стало с этой драгоценной коробкой. По всей вероятности я ее забыла в поезде, когда мы приехали в Архангельск.

Утром меня разбудили голоса и звон стаканов. Двое наших спутников уже пили чай. "Ну вот, Женя, — Петя протянул мне блестящий калач, — скоро мы будем в Архангельске". "Как скоро?" — подумала я. Было темно, как ночью, хотя уже настало утро. Мы были на далеком севере, где большая часть года проходит во мраке и солнце появляется редко. Ночью шел снег и большие белые хлопья прилипли к стеклу как пушистые мотыльки.

Пассажиры собирали свои вещи — скоро они разойдутся по своим домам. Мы тоже стали собираться. Вчера вечером, перед тем как ложиться

спать, Петя предложил мне снять платье и аккуратно сложил его возле туфель, в ногах. Теперь он все переложил на нижнюю полку, а верхнюю опустил. Когда я оделась, он дал мне полотенце и мыло и отправил умываться — не предлагая помочь, так как знал, что я все уже умею делать сама. Затем он причесал, как умел, мои волосы и помог надеть ваденки. Мы сели и стали ждать.

Каким скучным и долгим кажется ожидание, когда ты молод! Сколько раз подряд я спрашивала терпеливого Петю, как долго еще остается до прибытия? Какой надоедливой я была, — а он все переносил и заботился обо мне, во все время пути не выпуская меня из вида.

Наконец мерный ритм колес начал постепенно замедляться и вскоре поезд стал. Мы прибыли в Архангельск — бесконечно дорогой и утерянный навсегда Архангельск! Исчезнувшие навеки лица, умолкнувшие голоса...

Глава 2.

Моя бабушка по отцу, Евгения Евгеньевна Попова, — жена доктора Александра Егоровича Попова во втором замужестве, ожидала мое прибытие на Исакогорском вокзале, как он тогда назывался. Я ясно помню высокую и полную ее фигуру в синей шубе, отороченной мехом, в круглой меховой шапке, надетой поверх шерстяной шали. В руках у нее была муфта и еще одна шаль.

Когда я видела ее в последний раз, мне было только пять лет, но я инстинктивно почувствовала, что эта высокая, красивая дама с темными кудрявыми волосами вокруг румяного круглого лица и ласковыми глазами — не кто иная, как моя ба-

бушка. Я кинулась ей навстречу, и она, широко раскинув руки, приняла меня в свои объятия, осыпая поцелуями.

Петин отец, коренастый, пожилой мужчина, тоже встречал его. Они обнялись и поцеловались. Некоторое время взрослые, к моей досаде, стояли, обсуждая путешествие, в то время как я сгорала от нетерпения. Бабушка несколько раз принималась благодарить Петю за то, что он благополучно довез ее внучку. В конце концов они распрощались и мы двинулись к своим саням.

Возле упряжки стоял молодой, светловолосый мужчина в длинной стеганой шубе и валенках. "Это Михайло, — сказала бабушка. — Ты его помнишь?" "Как она может меня помнить? — сказал Михайло певучим крестьянским говором. — Она была вот такая", — и он указал кнутовищем чуть повыше своих валенок.

Две маленьких собаки, радостно лая и повизгивая, крутились возле нас. Их я помнила. А может мне так казалось: отец и мать рассказывали мне о них много разных историй. Это были Скотка и Борзик. Скотка был черный шотландский терьер и настоящая его кличка была Скотти — тут его все знали и переименовали на русский лад. Когда ему было всего два с половиной месяца, мой отец привез его из Шотландии на грузовом судне вместе с черноголовыми овцами. После шести арктических зим его густая шерсть стала еще гуще и длиннее. Он напоминал маленького свирепого медвежонка. Но его внешность была обманчива: из-под густой косматой шерсти глядели добродушные карие глаза. Это было умное, храброе животное и превосходный крысолов: ни одна русская крыса не могла уйти от этого представителя маленькой Шотландии.

Его неразлучного дружка Борзика маленьким полузамерзшим щенком мой отец нашел в одно рождественское утро у наших ворот и вернул к жизни теплым молоком с водкой. В то время мне было всего несколько недель. Мы росли вместе с Борзиком и он терпеливо переносил мои детские шалости. С годами он стал небольшим коренастым псом с красновато-коричневой шерстью и завернутым в калачик хвостом. В его голове хитрость совмещалась с рассудком: он предпочитал иметь дело с избранными, а на простых двуногих глядел своими янтарными глазами высокомерно и презрительно.

Большую шерстяную шаль, которая была в руках у бабушки, обернули вокруг моей головы, перекрестили на груди и завязали узлом на спине: бабушка боялась мороза. Во все время поездки она то и дело натягивала платок мне на щеки.

Мы сели в сани. Михайло накрыл нам ноги медвежьей полостью и влез на козлы. "Ну, пошел!" — крикнул он характерным для кучеров веселым звонким голосом и взмахнул кнутом. Лошади тронулись, загремели бубенцы, дико и радостно залаяли собаки и побежали вслед за санями.

Станция была на левом берегу Двины, город на правом. В летнее время через реку переправлялись паромом. Зимой, когда река покрывалась толстым льдом, она несла на себе всю тяжесть транспорта. Мы съехали по пологому скату к реке. Широкая и ослепительная, она раскинулась перед нами и исчезала за островом Соломбала, устремляясь к морю. Справа, расположившись широкой дугой к северу, лежал Архангельск. Солнце освещало белые здания и играло на золотых куполах церквей.

Еще выше, на фоне безоблачного голубого неба, сияли кресты.

Каким радостным и сияющим было утро! Солнце, хрустально чистый воздух, запах снега. Лошади перешли в галоп, сани скользили по твердому насту, образовавшемуся поверх льда реки. "Гей, гей, милые!" — покрикивал Михайло и лошади неслись быстрее и быстрее, откинув головы с развевающимися гривами, гремя бубенцами. Собаки мчались во всю прыть, то догоняя, то отставая. Я сидела с бабушкой в тепле и уюте и смеялась, как только могут смеяться дети, когда они счастливы.

Мы достигли правого берега и остановились на дороге, ведущей в город. Собаки отстали. Тяжело дыша, они вскоре догнали нас. Бабушка похлопала рукавицей по медвежьей полости, и они весело прыгнули в сани. Мы медленно двигались вдоль базарной площади, мимо складов и магазинов, мимо продававших свои товары крестьян. Достигнув пересечения дорог, сани повернули влево на Троицкий проспект, широкую главную улицу, и мы поехали через центр города, мимо старинного собора с замечательными фресками на белых стенах.

Несмотря на сильный мороз, на улицах было много народу. Прохожие, укутанные в шали и меха, спешили куда-то между высоких снежных заносов вдоль мостовой — иногда были видны только их головы. Сани всевозможных расцветок, большие и малые, сновали взад и вперед. В городе лежал глубокий снег и стояла величавая тишина арктической зимы. Только скрип полозьев, звук бубенцов и звон колокольчиков, да внезапное карканье пролетающей вороны нарушали ее.

Мы свернули на Олонецкую улицу и снова спустились по склону к Двине. Лошади сами ускори-

ли бег: в конце улицы, возле реки, стоял наш дом. Двойные ворота были настежь распахнуты. Возле них, опершись на метлу, стоял Василий, старик-садовник. Бабушка, смеясь, помахала ему рукой.

Сани пронеслись в ворота. Впереди были видны верхушки изгороди, отделяющей двор от сада. За изгородью, в саду, на небольшом пригорке, стоял белый летний дом, построенный в виде замка. Он был окружен елями и березами, охранявшими его, как безмолвная стража. На башенке легко развивался флаг. Мы промчались мимо двух флигелей, выходящих во двор и остановились у парадного подъезда. Бабушка помогла мне сойти, и, взявши за руку, повела в дом — сначала через двойную дверь, а затем вверх по лестнице, устланной темно-красным ковром. Вдруг внутренняя дверь вверху отворилась и из нее показались улыбающиеся лица двух мальчиков и девочки. За ними стояла небольшая группа людей.

Я вошла в дом, он ласково принял меня и держал в своих объятиях восемь лет, пока не окончилось утро моего детства.

*

Дом был просторный. Его главная, одноэтажная, сторона выходила окнами на широкий разлив Двины. Широкие венецианские окна вели на балкон с чугунной решеткой. Там длинными летними вечерами сидела наша семья со своими друзьями, ведя бесконечные беседы, слушая голоса, доносившиеся с берега, любуясь закатом солнца, медленно заходящего за темным, далеким противоположным берегом.

К северу лежал остров Соломбала. Все пароходы, прибывающие с Белого моря пробегали с той

стороны острова и внезапно показывались из-за него.

К дому с обеих сторон примыкали два двухэтажных флигеля. В северном флигеле на первом этаже была небольшая квартирка из двух комнат и кухни, с отдельным входом. Когда-то там жила старая няня Шаловчиха, помнившая еще отступление наполеоновской армии из-под Смоленска и выростившая несколько поколений моей семьи. После ее смерти квартира стояла некоторое время пустой. Когда я приехала, там жил дядя Саня, младший брат моего отца, еще молодой человек — в то время ему было двадцать лет. Отдельный вход устраивал моего холостого дядю: его часто навещали друзья, он вел веселую жизнь, устраивал пирушки. Когда слишком громкие голоса, взрывы хохота и звуки балалайки долетали до верхнего этажа, мы снисходительно улыбались. Лицо же бабушки всегда темнело.

Большой квадратный балкон, куда из столовой вела широкая дверь, соединял оба флигеля. Я не помню, чтобы этот балкон как-то использовали. Разве что бабушка, когда собиралась в город, выходила на него, наклонялась над решеткой и, сложив руки около рта трубочкой, звонко кричала: "Михайло, подавай!" Михайло появлялся на ступеньках своего крыльца, отзывался, и, застегивая на ходу кафтан, бежал к конюшне.

Приятное время было после завтрака. Собрав на тарелку хлеб и остатки еды, бабушка бросала их с балкона и каким-то особенным, мягким и ласковым голосом приговаривала: "Цип, цип, цип, миленькие!" Магический эффект этих слов всегда приводил меня в радостное возбуждение, и, смеясь, я вслед за бабушкой повторяла этот зов. "Миленькие" — куры, петухи, цыплята, гуси, индюшки сбе-

гались отовсюду. Утки, только что мирно нырявшие в пруду за мелкой рыбешкой и водорослями, выскакивали на берег и, боясь опоздать, бежали, переваливаясь на коротких лапках, падали, сталкивались друг с другом.

Зимой, когда окна и двери были заставлены двойными рамами, балкон был недоступен. Его заносило снегом по самые перила и только крестики вороньих и воробьиных лапок нарушали его девственную чистоту.

В дальнем конце двора стояли два отдельных домика для прислуги, каждый из двух комнат. В одном из них жил Михайло со своей молодой женой Машей, в другом садовник Василий и мальчик на посылках Яшка. В зимнее время в домик Василия переводили кур из летних курятников. Василий благодушно разделял свои комнаты с Яшкой и курами, время от времени открывая клетки. Куры толклись у его ног, склевывая с пола невидимых насекомых.

Справа, тоже в дальнем конце двора, расположенного полукругом, были конюшни, каретная и старый сарай, где жили овцы, вывезенные моим отцом из Шотландии. Многие не советовали ему это делать, говоря, что шотландские овцы привыкли бродить по лугам с сочной травой. Но отец считал, что они привыкнут к новым условиям — и оказался прав. Овцы не только привыкли, но и хорошо размножились и шерсть их стала еще лучше и гуще. Сначала они робко щипали траву возле конюшни, но со временем стали выходить за ворота и трусили к реке. Берега Двины в нашем месте были высокими и, чтобы их не портил весенний ледоход, тут специально насыпали гальку и навалили валунов. Между валунами росла трава и всевозможные цветы. Здесь овцы нашли то, что напоминало им

родную Шотландию и скоро стали обычным зрелищем для прохожих. Каждый вечер они сами возвращались в свой сарай. В долгие вечера северного лета, когда не наступала темнота и солнце светило и ночью, инстинкт подсказывал им, что уже вечер и они брели в свое укрытие. В темные зимние месяцы, когда солнце появлялось на очень короткое время, им бросали на снег сено и они выходили кормиться, а затем совершали короткую прогулку к реке.

Однажды, когда Василий расчищал у ворот снег, он услышал испуганное блеяние — овцы промчались мимо него во двор, а за ними гналась большая собака. Михайло и Василий сразу поняли, что это была не собака, а волк, которого голод заставил перебраться сюда из-за Двины. Михайло, Василий и Яшка с рогатиной преградили ему отступление. Молодые горничные выбежали из кухни и пугали волка, размахивая полотенцами. Скотка и Борзик заливались лаем, но держались на почтительном расстоянии. Весь этот отряд, спотыкаясь и падая, в сильном возбуждении наступал на волка. Волк был перепуган не меньше овец, но, как все загнанные животные, в конце концов, бросился на своих преследователей. Все отпрянули, собаки с поджатыми хвостами ретировались на кухню, — а волк прорвался к воротам и помчался назад к реке, в свой лес.

*

Годы проходят все быстрее, и я становлюсь старше. Нужно спешить, времени, может быть, осталось немного. Как и все пожилые, я яснее помню людей и события, происшедшие в мои юные годы, чем то, что было позже.

Я вижу дом довольно ясно во все времена года. Летом комнаты залиты ярким солнцем. Из открытых окон доносится шум реки, голоса женщин, полощущих на Двине белье, громкий смех купающихся детей, терпкий запах бревен, плывущих вниз к лесопилкам.

Зимой, как только в окна вставлены двойные рамы, шум умолкает, дом становится теплым и уютным. Мягкие блики света на столе, мирное миганье лампад, освещающих святые лица на иконах, тихое гуденье самовара создавали атмосферу, притягивающую всех в семейный круг. Комнаты наполнены запахом березовых и еловых поленьев, которые, потрескивая, горят в больших печах.

Три главные комнаты расположены во всю длину дома с выходящей на реку стороны. Они кажутся еще просторнее благодаря аркам, их соединяющим. Этими комнатами редко пользовались, за исключением одной, в юго-восточном углу дома. В этой уютной комнате стояли мягкие кресла, обитые светло-зеленым штофом, на окнах были такие же шторы, в кадках стояли цветы, на маленьких столиках лежали фотографии и семейные альбомы. Бабушка любила принимать здесь своих гостей.

В противоположной части дома был большой бальный зал, где с середины потолка свисала хрустальная люстра, вдоль стен стояли легкие позолоченные стулья, а в простенках высокие, до потолка, в позолоченных рамах, зеркала, в которых отражались комнатные растения и цветы. В углу стоял сверкающий лаком рояль.

Между бальным залом и угловой комнатой — гостиная. Мягкие кресла, обитые малиновым бархатом, столики из красного дерева, шифоньерки с фарфором — все было выдержано в викториан-

ском стиле. На стенах висели картины; одна из них изображала шотландскую королеву Марию Стюарт, идущую на казнь.

Цветы и растения были на всех подоконниках. Бабушка страстно любила свой сад и оранжереи, где выращивала редкие, невиданные в этих местах растения. Олеандры, чудно пахнущие лимонные деревья, фуксии, герань, редкие кактусы и орхидеи — все цвели в положенное им время и кивали яркими головками на фоне белоснежной зимы за окнами.

Во всем доме были золотистые паркетные полы, но в этих трех комнатах они были особенно затейливого и красивого рисунка. Натирать их приходило двое молодых людей в черных косоворотках. Сняв сапоги, они надевали на одну ногу толстый чулок, а на другую низкий сапог со щеткой, крепко притянутой ремнями у щиколотки. Заложив одну руку за спину, они скользили на ноге со щеткой, отталкиваясь другой ногой. Свободная рука раскачивалась как маятник вверх и вниз. Их мокрые рубашки прилипали к телу, но они неумоимо скользили, останавливаясь только для того, чтобы переодеть сапог со щеткой с одной ноги на другую, или испить квасу, который у нас делали из черных сухарей, добавляя изюм. Их ритмические движения продолжались долго, пока полы во всех комнатах не начинали сверкать золотистым блеском.

Центром дома была столовая, расположенная в промежутке между двумя флигелями. Каждый день в шесть часов пополудни десять-двенадцать человек садились за обеденный стол, расположенный по длине всей комнаты. В углу столовой была большая икона святителя Николая Чудотворца.

Под нею стоял небольшой столик, на котором лежало старинное Евангелие. Ряд лампад освещал темный, почти неразличимый лик святого. Икона была в семье больше двух столетий. Во время гонений на староверов ее нашли плывущей по реке и моя прабабушка привезла ее в Архангельск из Калуги.

По старому русскому обычаю, каждый входивший в столовую, останавливался перед иконой, крестился и потом лишь садился за стол. Вслед за другими поспешно крестилась и я, боясь взглянуть в темные бездонные глаза угодника. Эта икона считалась чудотворной. Бабушка часто вспоминала, как ее брат Дмитрий, огромный мужчина, когда-то богохульствовал перед иконой, говоря, что этот кусок черного ненужного дерева годен только на дрова. Когда он возвратился домой, то узнал, что его сын заболел дифтеритом. Он бросился обратно к нам, простерся перед иконой, рыдая от раскаяния и прося святого спасти его сына. Ребенок поправился. Дядя Митя был дикий и безрассудный человек, не очень религиозный и не очень приятный, но я все еще вижу как он с благоговейным напряжением смотрит на икону и крестится широким размашистым крестом.

В углу столовой стоял круглый сервировочный стол. После обеда этот стол покрывали плюшевой скатертью, лампу опускали и стол освещался мягким светом. Один за другим мы все собирались сюда. Бабушка очень любила кедровые орешки и грызла их с ловкостью и быстротой белки. Вообще-то это была привычка простого люда — в бабушке очевидно сказывалась ее крестьянская кровь. Она ставила на стол большую полную миску, и мы щелкали мелкие коричневые орешки и вели бесконечные беседы.

Интереснее всего было, когда Сережа читал нам

вслух. Он был моим дядей, сыном бабушки от второго брака. Хотя он был еще молод, учился в гимназии, он прекрасно читал вслух мягким, выразительным голосом. Русский язык, бесконечно богатый и гибкий лился из его сердца то громче, то тише, то грустно, то радостно. Он держал своих слушателей в напряжении до последнего мгновения. Никто не произносил ни слова. Бабушка, под перев голову ладонями, смотрела пристально в стол, а Марга, моя молодая тетя, сестра Сережи, глядела прямо перед собой куда-то в пространство.

За этим столом, в этом доме, где я провела полные впечатлений годы моего детства, восприняла я русские обычаи и неуловимую сущность русского духа, который затмил во мне мое шотландское "я".

Тихо и спокойно текла наша провинциальная жизнь в те годы. Никто не подозревал о надвигающейся буре. А если кто-либо ее и предчувствовал, то молчал.

Глава 3

В 1903 году, когда моему отцу Герману Александровичу Шольцу исполнилось двадцать три года, было решено, что ему надо ехать за границу. Хотя после трехлетнего обучения в Рижском университете, он считал себя достаточно подготовленным, чтобы управлять делами лесопильных заводов своего покойного отца, его опекун дядя Адольф и мать решили, что ему необходимо сначала приобрести опыт за границей. Был выбран город Данди в Шотландии, фирмы которого торговали лесом и льном с Архангельском, и где у бабушки были родственники, которые, по ее мнению,

могли присмотреть за ее не всегда уравновешенным молодым сыном.

В первый день по прибытию в Данди Герман стоял у окна своей гостиницы. Чистые улицы, каменные дома, хорошо одетые прохожие — все говорило о порядке и благополучии. Был солнечный день, люди шли не спеша, прогуливаясь, лошади звонко стучали копытами по булыжной мостовой, дребезжали коляски. Погруженный в свои мысли, он вдруг заметил молодую девушку в сиреновом костюме и белой шляпке, прогуливавшую фокс-терьера на противоположной стороне улицы. Собака остановилась и обнюхивала фонарный столб. Герману захотелось, чтобы девушка на него посмотрела. И она действительно подняла голову и взглянула на него. На мгновение взгляды их встретились и на ее лице появилось легкое удивление. Она опустила голову и нетерпеливо дернув поводок, пошла дальше.

Герман нашел комнату в небольшом городке Броути-Ферри и был принят на два года в фирму, торгующую льном. Языки ему давались легко и он быстро усваивал не только английский, но и местное наречие. Ежедневно он ездил поездом в Данди и вскоре у него образовался круг знакомых.

Однажды его двоюродный брат Бертрам пригласил Германа на благотворительный бал в Броути-Ферри. Когда они вошли, был как раз перерыв между танцами — молодые люди вели своих дам на места. "Скажи, кто эта девушка, что стоит возле барышни в голубом?" — спросил Герман, глядя в противоположный конец зала. "Это Нэлли Камерон, местная красавица, — ответил Бертрам. — Та, что в голубом, ее сестра Агнес, а двое молодых людей их братья. Я знаком с их семьей: родители

строги, а братья неуживчивы. Мне кажется, ты хочешь познакомиться с Нэлли?”

Они медленно перешли зал и Германа представили двум молодым девушкам и их братьям Стефану и Генри. Тоненькая, среднего роста, голубоглазая и темноволосая с прекрасным цветом лица и классическими чертами, Нэлли выделялась среди других девушек.

Раздались звуки венского вальса, Герман подошел к Нэлли и поклонился. Через много лет, когда моя мать, уже пожилая женщина, слушала эти старинные мелодии по радио, она сказала:

”Никто не умел танцевать так, как твой отец. У него был свой стиль: он начинал длинными скользящими шагами и кружил меня до тех пор, пока не создавалось впечатление полета, когда ноги почти не касались пола”.

Некоторое время они танцевали молча. Потом Герман спросил: ”Мы встречались уже, неправда ли?” Нэлли засмеялась: ”Да, мы встречались. Вы — человек в окне!” Они танцевали весь вечер, позабыв о других и не замечая молчаливого неодобрения Стефана, которому не нравилось, что этот иностранец все время танцует с его сестрой.

За ужином они сидели рядом. На плохом английском языке Герман рассказывал о себе, о России, о своей матери, о доме. Он старался описать свою любимую страну, ее беспредельные просторы, леса, широкие реки, снега и морозы зимой, летом — прекрасные белые ночи, когда солнце обходило вокруг горизонта, а с Двины далеко за полночь неслись веселые голоса и смех. Нэлли внимательно слушала.

Всю жизнь она прожила в Броути-Ферри, никогда не уезжала из Шотландии и говорила о простых, незначительных вещах. Герман узнал, что она —

старшая из четырех сестер, что два ее брата живут в Кении и Новой Зеландии, а младший, Генри, собирается уезжать в Индию. Вся ее жизнь состояла в том, что она помогала матери по хозяйству и каждую субботу ездила в Данди за покупками.

Во время последнего танца Герман спросил, может ли он проводить ее до дому. "Об этом вы должны спросить Стефана", — ответила она грустно. Стефан сказал: "Я, я сам провожу свою сестру!" Но идя домой темными пустынными улицами Герман вспомнил, что Нэлли каждую субботу ездит в город.

Остальное было просто — надо было лишь прочесть расписание поездов отходящих в послеобеденное время из Уэст-Ферри и отправиться на станцию. Нэлли должна была появиться с восточного входа и он увидел, как она поспешно вошла и села в передний вагон. Герман подбежал к поезду, вошел в купе, сел, начал разглядывать пассажиров и с притворным удивлением вдруг увидел Нэлли, сидящую напротив. В Данди он ходил с ней по всем магазинам, ожидал ее на улице. Обрато в Уэст-Ферри они ехали вместе.

Эта игра, старая, как мир, продолжалась несколько недель. При небольшой изобретательности Герман разнообразил встречи так, что они всегда казались случайными. Иногда он уезжал в Данди раньше, ждал следующего поезда и увидев Нэлли, подходил к ней. В одну из таких встреч мой отец расхрабрился и предложил Нэлли на следующей неделе пойти вместе в театр. Бедная Нэлли, раздираемая страхом и желанием, кротко согласилась. Она еще никогда нигде не бывала вместе с молодым человеком и была охвачена возбуждением и страхом. Она поспешно сделала покупки,

и они вошли в театр как раз, когда поднимался занавес.

С того дня неожиданных встреч уже не было. Они встречались каждую субботу и шли в театр на дневное представление. Агнес, сестра, которой Нэлли рассказала о своих встречах, помогала ей во всем. Часто Агнес сама делала покупки и возвращалась вместе с ними в Уэст-Ферри. Нэлли никогда не разрешала провожать себя до самого дома, они расставались на станции.

Нэлли счастливо продолжала встречаться с Германом каждую субботу, однако было ясно, что рано или поздно кто-то может сообщить обо всем ее родителям. Но она старалась не думать об этом, радуясь быстро пролетавшим счастливым часам. В конце концов неизбежное произошло, но не так, как предполагала Нэлли.

Мой дедушка каждую субботу отправлялся в Данди в свою контору. Он уезжал раньше Нэлли, и возвращался в четыре часа дня, и это его расписание никогда не менялось. Нэлли обычно возвращалась в пять часов пополудни — после театра. Но в одну из суббот, когда они с Германом стояли на платформе в ожидании поезда, она, к своему ужасу, увидела отца, идущего в их направлении. Не заметив молодых людей, он остановился неподалеку.

Моему дедушке, Августу-Стефану Камерону было тогда пятьдесят лет. Среднего роста, широкоплечий, приятной наружности, всегда аккуратный, он обычно носил темносиний костюм с цветком в петлице и серую шляпу. Его знали как человека со странностями, склонного как к великодушию, так и к мелкой тирании. Когда он был раздражен, то имел привычку пронизывать своего оппонента пристальным, холодным и острым взглядом своих

голубых, глубоко посаженных глаз. И вот он стоял на платформе, глядя прямо перед собой.

Нэлли уже представляла себе ужасные последствия и конец ее счастливым встречам. Но для моего отца это была возможность, которую он не хотел упускать. Твердой походкой он подошел к моему дедушке, приподнял шляпу и попросил разрешения представиться. Его, сказал он, не так давно на одном из балов познакомили с его дочерью и с тех пор он встречал ее несколько раз. Он надеется, что господин Камерон не сочтет желание с ним познакомиться за слишком самонадеянное.

Дедушка холодно взглянул на свою дочь и на стоящего перед ним молодого человека. Мой отец смутился и молчал, ожидая ответа.

— Скажите, — неожиданно спросил мой дедушка, — что там собственно происходит между вашей родиной и Японией? —

Если мой отец и удивился, то он, конечно, не показал этого. В то время внимание всего мира было обращено на войну между маленькой Японией и русским колоссом. Мой отец, как все русские, страстно любил свою родину, был в курсе дел. Он высказал свое мнение. Тут подошел поезд и, после некоторого замешательства, они вместе вошли в купе. Разговор продолжался до самого Уэст-Ферри. Прощаясь, мой дедушка сказал: — Молодой человек, мне было приятно беседовать с вами и мне хотелось бы больше узнать о вашей стране. Не хотели бы вы у нас завтра отобедать? — Какая-то еле уловимая теплота смягчила его суровое лицо.

Нэлли, все время молчавшая, вздохнула с облегчением. Мой отец поклонился, выразил свое согласие и благодарность, и, еще раз сняв шляпу, удалился. Вечером он написал длинное письмо своей

матери, описал Нэлли и свое знакомство с ней и сообщил, что приглашен в дом ее родителей. Он ее любит и хочет на ней жениться, уверен, что она понравится матери и что мать их благословит. На следующий день он стоял у дверей элегантного каменного дома в викторианском стиле.

На звонок вышла молодая горничная и провела его в гостиную. Там, кроме дедушки, был старший брат Нэлли, Эндрю, уже женатый и приезжавший каждое воскресенье к родителям с женой и детьми. Вошла моя бабушка, вежливо поздоровалась и села. Она красотой не отличалась, но обладала хорошим вкусом и, несмотря на большое количество детей, хорошей фигурой с тонкой талией, такой модной в то время. Появилась Нэлли, улыбнулась, сказала несколько слов и вышла распорядиться обедом.

Дедушка встал и пригласил Германа в его, как он улыбаясь сказал, "обсерваторию", где он покажет свою новейшую игрушку. Там, в середине большой комнаты, на подставке стоял телескоп. Мой отец, никогда раньше в телескоп не смотревший, был удивлен: на противоположном берегу Тей он рассмотрел даже букет цветов на шляпке девушки, ее улыбку и глаза.

Прозвучал гонг. Вся семья собралась в столовой. Герману представили двух других сестер Нэлли — Мэри, сдержанную, красивую девушку и Вики, самую младшую, веселую, жизнерадостную девочку. Первым, во главе стола, занял свое место хозяин дома — никому и в голову не могло прийти сесть раньше него. Горничная внесла дымящуюся супницу. Дедушка прочел молитву, уперев голову в ладони рук — жест, который никогда не менялся. Бабушка начала разливать суп. Это был в их семье первый случай, когда они принимали мо-

лодого человека. Все, за исключением дедушки, чувствовали себя сначала связанными, но по мере того, как подавались новые блюда, оживлялись.

Дедушка мог принимать участие в разговорах на многие темы. Он был начитан, обладал острым, пронизательным умом, часто понимал самую суть происходившего и предугадывал последствия мировых событий. Снова был поднят вопрос о русско-японской войне. В конце января 1904 года японский флот вероломно напал на русских в Порт-Артуре, Россия терпела поражения и мой дедушка сожалел о ее слабости. Но вдруг, обратившись к Герману, он сказал: "Запомните мои слова, друг мой, придет день, — не в мое время, но может быть в ваше, — Россия станет силой, с которой будет считаться весь мир. Это касается и нас тоже". Пророческие дедушкины слова, сказанные во время наибольшего расцвета могущества Великобритании, моя мать неоднократно вспоминала много лет спустя.

Дедушка рассказал, что он был самым младшим в большой семье. Его мать умерла во время родов и воспитала его тетка, у которой не было детей и которую звали бабушка Дик. Она увезла его в Броути-Ферри и он вырос вдали от своих многочисленных братьев и сестер. Богатая тетка любила и баловала его и завещала ему все свое состояние. Он провел всю свою жизнь в Броути-Ферри и был свидетелем быстротекущих перемен: в начальную школу его возили в Данди еще в открытой коляске; в молодости он видел, как строили мост через реку Тей, Тей-Бридж — тогда это был самый длинный в мире мост; видел как по этому мосту с триумфом проехал первый поезд. А через два года после этого он был свидетелем ужасной катастрофы.

Моя прабабушка Эллен Хей из Люшерс гостила на Рождество в семье своей дочери и зятя. Через три дня после праздника, 28 декабря 1879 года она собралась уезжать обратно в Люшерс. Была буря, а к вечеру ветер еще усилился. Волны в реке Тей с грохотом бились о берег. Дедушка и бабушка забеспокоились и уговаривали прабабушку не уезжать. Она, несмотря на уговоры, двинулась в путь, но ей было не суждено переехать Тей-Бридж.

Вечером, когда буря еще усилилась, дедушка решил осмотреть сад. Надев теплое пальто, он стал спускаться по откосу к реке. Волны бешено бились о берег, выл ветер, хлестал дождь, все смешалось в диком устрашающем реве. Во тьме дедушка видел только миганье маяка, цепочку огоньков над рекой и маленькую движущуюся красную точку. Вдруг огни исчезли и все погрузилось во тьму. "Что-то странное, — сказал он, вернувшись. — Огни на мосту погасли".

Через несколько часов стало известно о случившейся на мосту трагедии: поезд рухнул в реку и пассажиры погибли. Ранним утром дедушка вышел на берег; буря утихла, но волны все еще бились о берег, выбрасывая обломки вагонов.

В моем отце дедушка нашел внимательного слушателя, задающего вопросы и интересующегося всем, о чем бы ни шел разговор: Шотландия была для него новой страной и он хотел познакомиться со всеми ее традициями, историей, нравами, чтобы быть принятым в ее среде. Когда обед закончился и все перешли в гостиную, Герман поднялся и захотел было откланяться, но был оставлен на чашку чая.

В доме со строгими пресвитерианскими традициями по воскресеньям нельзя было слушать ни-

какой иной музыки, кроме псалмов и религиозных гимнов. Поэтому все были удивлены, когда дедушка попросил дочерей исполнить несколько народных шотландских песен. Нэлли послушно села за рояль, чтобы аккомпанировать Мэри, у которой было хорошее контральто. Все собрались у рояля и мой отец, который уже знал некоторые наиболее известные шотландские песни, стал подпевать. Потом Нэлли играла одна, и Герман был удивлен и очарован — она никогда не рассказывала ему, что хорошо играет на рояле.

Потом они снова пили чай с домашним печеньем в столовой. Атмосфера была теплой и дружеской и Герман чувствовал себя, как дома, как будто он знал их всех уже давно. После чая девушки с братьями стали собираться в церковь на вечернее богослужение. Герман шел рядом с Нэлли, позади всех. Возле церкви он, поблагодарив за гостеприимство, стал прощаться. Ему сказали, чтобы он приходил почаще и чувствовал себя у них как дома.

Через две недели он просил у дедушки руки его дочери и его просьба была удовлетворена. По шотландской традиции он подарил Нэлли бриллиантовое кольцо и помолвка была объявлена официально.

Эта русско-шотландская помолвка обсуждалась со всех сторон. Был обмен письмами между английским посольством в Петербурге и русским в Лондоне и адвокатом моего дедушки. Согласно русским законам моя мать должна была иметь на брак согласие родителей. Выйдя замуж за моего отца, она автоматически получала российское подданство, так же, как и ее дети, которые должны были быть православными. Мой отец написал о. Евгению Смирнову, настоятелю церкви при рус-

ском посольстве в Лондоне. Отец Евгений разъяснил; что возражений против венчания по пресвитерианскому обряду не имеется, но венчание должно быть повторено и в православной церкви, иначе брак будет считаться недействительным.

Если у дедушки и бабушки и были опасения по поводу того, что их дочь станет подданной этой огромной, неизвестной им страны, то они старались их отбросить. Ведь если уже многие из членов их семьи находились в самых отдаленных углах Великобританской империи, то почему бы не отправиться и в империю Российскую? Моя же мать не имела ничего против подчинения другим законам и традициям и с радостью последовала бы за отцом даже в самые отдаленные провинции Китая, если бы это потребовалось. До конца своих дней она осталась пресвитерианкой, но всегда по большим праздникам ходила в православный храм. Ей нравилось церковное пение, трогали традиции, в особенности же она любила праздник Пасхи.

Тем временем из России приходили нескончаемые письма: опекун и мать Германа задавали вопрос за вопросом. В конце концов Герман решил взять отпуск и съездить домой, чтобы на месте все обсудить. Длительное обручение и пребывание в Шотландии он считал излишними. Он хотел поскорее жениться, вернуться в Россию, начать новую жизнь и заняться делами лесопильных заводов. Нэлли же никогда не была более счастливой: она почувствовала свободу, которой раньше у нее не было. Это была ее весна, жизнь стала другой, жизнь стала замечательной.

Я часто слыхала и от моего отца, и от других иностранцев, что воскресенья в Шотландии гораздо более скучны, чем в их странах. Не было никаких развлечений — пойти можно было только в цер-

ковь или к родным и знакомым. Теперь Нэлли и Герман стали проводить их иначе: когда дни стали длиннее и яснее, они гуляли и впервые осмотрели прекрасные окрестности города, еще не испорченные строительством дорог и зданий. Иногда вместе с другими молодыми людьми они гуляли по улицам города.

Как-то в одно из воскресений в начале лета они отправились поездом в Данди, там переправились через реку на пароме с ласковым названием "Фифи" в Ньюпорт и пошли берегом, так, чтобы попасть к другому парому, который назывался "Дельфин", и переправиться на нем в Броути-Ферри. Но день был жаркий, они останавливались, чтобы полюбоваться цветами, ухоженными садами, цветущими деревьями — и когда подошли к пристани, то "Дельфин" уже отчалил. Им ничего не оставалось, как ждать его возвращения и они пошли к реке и сели на берегу. Все было тихо и спокойно, день клонился к вечеру. Потом они увидели, как от противоположного берега отчалила лодка и стала пересекать реку. Гребец явно спешил и когда лодка приблизилась, они с удивлением узнали в нем дедушку. Они не подозревали, что в этот ясный день он развлекался в своей "обсерватории" и наблюдал в телескоп за противоположным берегом...

Дедушка видел, как отчалил "Дельфин", как гуляли на берегу и потом уселись в траву мои родители и, кто знает, может быть целовались! Дедушка выбежал из дому, отвязал лодку и поспешил на другой берег. Когда он выскочил из лодки, лицо его было багровым от ярости и напряжения. "Садитесь!" приказал он, когда Нэлли спросила, чем они провинились. Немного позже дедушка, по-видимому успокоился и поняв, что зашел слишком далеко, сказал, что он просто хотел сократить им время ожидания".

Вскоре мой отец уехал в Россию, в сопровождении Стефана. Дедушка отправил его под предлогом, что он еще никогда не бывал за границей, на самом же деле, конечно, чтобы член их семьи познакомился с семьей Германа и со всей обстановкой. Мой отец это понял и охотно согласился. Северная Двина в это время года была свободна ото льда и они отправились в Архангельск на грузовом пароходе. Через полтора месяца они вернулись. На Стефана поездка произвела большое впечатление. Люди в России ему понравились и поразили гостеприимством и радушием. Там были бесконечные обеды, ночные пикники, поездки на острова, экскурсия вверх по Двине на пароходе, длившаяся несколько дней. Двина судоходна на сотни километров, в ее устье множество островов. Пеня спокойные воды, пароход движется целыми днями среди плывущих к лесопилкам плотов, вдоль песчаных берегов, с которых машут пассажирам купающиеся ребяташки.

Но иногда ему казалось, что здесь все еще продолжается прошлый век. Трамваев не было, ездили на лошадях или ходили пешком. В богатых домах, несмотря на паркетные полы, изысканную обстановку и электричество, каждую каплю воды надо было доставлять с реки. Он наблюдал, как каждое утро лошадь везла пустую тарахтящую бочку вниз к реке, а затем привозила ее, наполненную водой, к дверям кухни. Вода переливалась в другую бочку, стоявшую в кладовой, а затем уже разносилась по комнатам. На втором этаже была маленькая умывалка, где находился мраморный столик, а на нем кувшин с водой и таз, зеркало, мыло и другие туалетные принадлежности. В другой комнате была уборная с двумя сиденьями, покрытыми деревянными крышками, одно побольше, другое

поменьше. Внизу была яма. Другая выгребная яма была позади конюшен. Ранней весной приезжали помойщики, выгребали ямы и вывозили их содержимое подальше, к берегу реки, где и сбрасывали на лед. Во время ледохода нечистоты уплывали в Белое море.

Сам Архангельск, по мнению Стефана, не лишен очарования. Широкие, мощные булыжником улицы обрамлены высокими деревянными мостовыми для пешеходов. Много прекрасных старинных церквей и зданий, построенных еще при Петре Великом. Большинство домов деревянные, весьма разнообразные по архитектуре, — солидные и крепкие у богатых, серые и убогие у бедных. Много зеленых садов, тенистых аллей вдоль берегов реки. Высоких зданий, затемняющих улицы, он не видел.

Стефан был уверен, что его сестра будет счастлива. Семья Германа и их друзья были и гостеприимны, и доброжелательны. Жизнь в небольшом, но оживленном порту проходила весело: было много клубов, собраний*, танцев, театральных постановок и опер, все по своим сезонам. Родственники были готовы принять Нэлли в свой круг и всем, что от них зависело, помочь ее счастью.

Я так никогда и не узнала содержания разговоров между моим отцом, его матерью и опекуном. Через много лет, одна из кузин моего отца, моя

* Автор связывает это слово с весельем, поскольку употребляет его не в современном смысле, а как "клуб, съезд для беседы или увеселения" (см. словарь Даля); оно означало как общество ("купеческое собрание", "благородное собрание", "офицерское собрание"), так и здание, этому обществу принадлежащее ("бал в дворянском собрании"). — Р е д.

двоюродная тетка, теперь уже очень пожилая да-
ма, рассказала мне, что отец мой произнес тогда
следующую фразу: "Я женюсь на ней и ни на ком
другом!" Возможно, что его родных беспокоило,
что молодая женщина попадет в чужую для нее об-
становку, вдали от близких и друзей, без языка.
Конечно, они не знали мою мать и не подозревали,
что она, как и все шотландцы, умела приспособли-
ваться к любой обстановке.

Впрочем, это не так и важно, что они думали и
говорили: свадьба была назначена на 18 января
1905 года.



Смотреть правде в глаза

Переживаемый страной период "критической гласности" отмечен, среди прочего, одной характерной особенностью: в публицистический бой активно пошли специалисты, профессионалы своего дела — инженеры, хозяйственники, врачи, экономисты. Да и среди профессиональных литераторов наибольший социальный резонанс вызывают те из них, кто уже давно, по сути дела, стал профессионалом хронически "больных" тем, неоднократно о них писал и отлично изучил. Тут можно было бы назвать такие известные фамилии, как А. Злобин, Б. Можаяев, В. Распутин, В. Селюнин, Ю. Черниченко и многие другие. Все чаще в схватку вступает "тяжелая артиллерия" — ученые-экономисты, социологи, философы. Опять-таки целый веер известнейших фамилий — Л. Абалкин, Г. Аганбегян, Э. Араб-Оглы, И. Бестужев-Лада, П. Бунич, И. Кон, О. Лацис, Г. Лисичкин, В. Переведенцев, Н. Петраков, Г. Попов, И. Фролов, В. Шубкин. Список этот можно легко удвоить или утроить, если смотреть не по избранным журналам и газетам, а по всем изданиям, которые сегодня как бы соревнуются в привлечении настоящих специалистов, завоевавших читательский авторитет.

Но даже на фоне этого созвездия просиявших имен особенно яркой звездой выделяется имя Татьяны Ивановны Заславской, академика, президента Советской социологической ассоциации, заведующей отделом социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР. Ее выступления, статьи и интервью последних двух лет вызывают всеобщий интерес, становятся основой полемики и публичных обсуждений. Можно смело сказать, что труды Т. И. Заславской сегодня читают не только ученые и узкие специалисты, но они нашли путь к сердцу и уму широкого, массового читателя.

Причин тому, на наш взгляд, несколько. Во-первых, известно, что именно Заславская является автором знаменитого доклада на всесоюзном семинаре социологов в Новосибирске весной 1983 года. Этот доклад, получивший неофициальное название "Новосибирского меморандума" (1) *, стал как бы теоретической основой последующей "революционной перестройки" при Горбачеве. Текст доклада никогда не был опубликован в массовой советской печати. Тем не менее, многие читатели, в особенности из интеллигентных кругов, прекрасно осведомлены и о докладе, и об ее авторстве. Об этом они слушали по "голосам", читали, кому попадалось, в эмигрантской прессе и просто "передавали" друг другу. Авторство первого, "революционного", документа, конечно, окружает Заславскую особым ореолом.

Во-вторых, она всегда выступает с четкими, ясными тезисами, не маскирует их в трудновскрываемой псевдонаучной оболочке, к чему часто прибегают ее более осторожные коллеги. Она не боит-

* Цифры в круглых скобках отсылают к соответствующему примечанию в конце статьи (Ред.).

ся "брать на рассмотрение" самые актуальные, насущные проблемы социально-общественной жизни, какими бы приземленными они ни казались. Конкретно-прикладной результат научных социологических разработок для Т. И. не сиюминутная конъюнктура, но естественный подход к проблемам.

В-третьих, Т. И. не только критикует, чему сегодня отдают дань многие, но выдвигает новые, альтернативные решения. При этом она не боится противоречивой сложности и запущенности поднимаемых проблем и непопулярности своих предложений. После первых успехов и даже триумфов Т. И. не спешит пожинать плоды, выбраться на отмель и отдохнуть, а продолжает плыть по глубокой воде против течения привычных стереотипов и широко внедренных представлений. Это показывает, что она настоящий ученый, глубоко уверенный в правоте своих идей.

Последнее делает для нас особо интересным взгляды и высказывания Т. И. Заславской в разных областях экономической социологии, ее точку зрения на самые насущные задачи перестройки, на пути и методы разрешения трудных, запутанных и запущенных проблем отечественной экономики, отечественной социальной практики.

НЕ КЛАССЫ, А СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Т. И. Заславская, пожалуй, первой в истории советского обществоведения поставила под сомнение основополагающее марксистское деление общества на два класса — рабочий класс и крестьянство — и одну "прослойку" — интеллигенцию. Причем, сделано это не в специализированном журнале, а в газете с многомиллионным тиражом:

”Ведь реальная структура нашего общества не соответствует этой заведомо упрощенной формуле — два класса и один слой” (2).

Нужно добавить только, что эта упрощенная формула не соответствует структуре никакого общества. Она была схематическим упрощением и во времена Маркса. Но именно эта удобная схематизация и способствовала популяризации марксизма. Однако это уже другая тема.

Развитие всего человеческого общества (а не только социалистического) после Маркса и особенно после Ленина, на примере демократических стран Запада, полностью скомпрометировало как схематические догмы марксизма-ленинизма, так и предсказания его пророков. ”Относительное обнищание крестьянства, абсолютное обнищание пролетариата”. ”Пролетариат” уменьшается и относительно, и абсолютно, и относительно и абсолютно богатеет. Крестьянство уменьшается численно еще более абсолютно, зато и богатеет в некоторых странах уж так абсолютно, что составляет из своих рядов полных и многократных миллионеров. Причем, безо всякого, в принципе, наемного труда, лишь ”семейным подрядом”. Зато прослойка интеллигенции все время растет, как на дрожжах, превысила по численности обоих гегемонов, залезла к ним внутрь и, маскируясь до неразличимости, надежно перемешалась — и относительно, и абсолютно. Кто эксплуататор, кто эксплуатируемый? Как говорил Галич, ”кто истцы, а кто ответчики — нынче сразу не поймешь”.

Одного этого уже было бы, по идее, достаточно, чтобы забросать портреты Основоположников тухлыми яйцами. Однако в Советском Союзе основоположники по-прежнему торжественно висят в позолоченных рамах. Видимо, потому, что яйца

как хронический дефицит не успевают протухнуть, а рам — сколько угодно, только успевай портреты менять...

Т. И. ограничивает свой анализ "развитым социалистическим обществом". Это позволяет ей, без ненужных экскурсов "за бугор", пользоваться, в то же время, обобщающей методикой:

"Это — общая закономерность любого процесса развития. Что растет, то обязательно усложняется. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите многие десятки, если не сотни групп и слоев, занимающих существенно разное положение в обществе и народном хозяйстве" (2).

Итак, слово сказано. Классов нет, но есть множество групп и слоев с существенно разным положением в обществе. Как же их назвать?

"На первый взгляд кажется, что речь идет только о профессиональных группах, но в действительности они социальные, потому что отличаются друг от друга не только типом выполняемого труда, но и более глубокими признаками: скажем, местом в организации общественного труда, уровнем и источниками дохода..." (2).

Но у различных социальных групп могут или даже обязаны быть и различные социальные интересы. Эти интересы могут не только не совпадать, сейчас или в перспективе, но могут быть совсем противоположными. Антагонистическими. Чувствуете, читатель, куда мы приближаемся?

"В стране не просто идет перестройка всей системы общественных отношений, но разворачивается огромный накал борьба между горячими приверженцами кардинальных сдвигов и социальными группами, которые готовы сделать все, чтобы ничто не менялось" (3).

Какие же из перечисленных Т. И. в "Известиях"

социальных групп” готовы сделать все, чтобы ничто не менялось”? ”Технички, управляющиеся со швабрами и ведрами”? ”Рабочие на конвейере”? ”Сельские учителя и врачи”? Вряд ли. Или, может быть, ”деятели торговли, у которых есть доступ к самым дефицитным товарам”? ”Дельцы ’теневой’ экономики”? Но что они могут, эти торговые деятели и дельцы? Похоже, что Т. И. не все социальные группы назвала...

То, что общественные, социальные группы существуют, что они развиваются, разбухают и дробятся, что у них могут быть разные, даже противоположные интересы — это в общем-то секрет полишинеля. И тот факт, что это впервые на научном уровне признано советской прессой, тоже сам по себе ничего не меняет. Ну есть социальные группы, а дальше что? Как их определить? Где границы между ними? Кто их рупор? Каков их признанный статус? Каков механизм привлечения ими общества на свою сторону? Каким образом они могут длительное время, вопреки периодическим поражениям, защищать свои интересы? На все эти напрашивающиеся вопросы Т. И. может ответить только теоретически, общо, лишь как, в принципе, должно было бы быть:

”Понятые и осознанные интересы требуют внешнего социального выражения. Поэтому общественная группа выделяет из своей среды или находит представителя своих интересов, их защитников. В силу этого каждый политический деятель обычно выражает интересы соответствующих общественных групп” (2).

Как это в реальной жизни осуществляется в условиях социально-политического плюрализма — понятно. Профессиональные союзы отстаивают интересы своих членов в прямой борьбе с другой

социальной группой — предпринимателями, акционерами. За долгие годы механизм этой борьбы был отработан и принял форму ежегодных коллективных договоров, лишь изредка (чем реже, тем лучше) прерываемых предупредительными и настоящими забастовками и ответными локаутами. Но для этого профсоюзы должны быть не "приводным ремнем партии", а самостоятельными объединениями, отстаивающими интересы исключительно своих членов, своих социальных групп.

Добровольные и независимые объединения творческих работников, или, как их назвала Заславская, "властителей дум и чувств" народа (писателей, артистов, режиссеров, художников), защищают интересы только членов своего объединения — перед другими социальными группами (менеджерами, продюсерами, государственными чиновниками и пр.) и перед общественным мнением. Они используют каждую возможность, чтобы поднять престиж своей творческой профессии. Но для этого творческие союзы должны быть свободными и независимыми, они должны не "проводить линию партии", а наоборот, проводить свою линию среди всех партий страны.

В многочисленных средствах массовой информации идет непрерывный фестиваль "показа" различных общественных групп, их забот, трудностей, успехов, интересов. Чем честнее, объективнее, доходчивей это делает газета, журнал, радио- или телепрограмма, тем выше их престиж не только среди "выигравших" социальных групп, но и среди всего общества в целом. Но для этого средства массовой информации должны быть не "рупором партии", а приемником и передатчиком самых разных общественных "волн".

Социальная группа должна иметь легальное пра-

во на публичное выражение своего несогласия с правительственными решениями. Вот идет в Париже демонстрация многих десятков тысяч французских студентов. Они протестуют против решения правительства ужесточить условия приема и обучения студентов. Правительство уверено, что оно защищает интересы общества, так как во Франции уже избыток специалистов с высшим образованием, они стоят казне (то есть налогоплательщику) очень дорого, а потом многие не могут найти себе применения, что с точки зрения чисто экономической — бессмыслица. Но студенты защищают свои корпоративные интересы и апеллируют к общественному мнению. Идут дебаты в газетах, на телевидении, высказываются политики и социологи, ученые и студенты. Всем "миром" ищут компромиссные решения. В результате таких поисков могут меняться прямолинейные, поверхностные суждения среди предубежденного большинства. Но и чрезмерно активное меньшинство может почувствовать, что подавляющая часть общества резко настроена против него.

Или, например, нынешняя волна демонстраций крестьян в странах Западной Европы. Субсидирование цен на некоторые виды сельскохозяйственных продуктов при непрерывном росте производительности крестьянского труда привело к образованию гор нереализуемых запасов масла, молочного порошка, мяса. Сейчас, под давлением многолетних нареканий тех же средств массовой информации, правительства отдельных стран Европейского Сообщества хотят снять часть поощрительных субсидий. Итог — сокращение спроса, ужесточение конкуренции и рост банкротств среди крестьян. В ФРГ, к примеру, крестьяне угрожают перестать поддерживать партии правительственной

коалиции и на выборах в отдельных землях (провинциях) уже выполнили свою угрозу. В своей сельскохозяйственной политике правительство ФРГ мучительно ищет компромисса между интересами такой важной социальной группы, как крестьяне, общим направлением политики Европейского Сообщества и требованиями здравого смысла.

Интересы социальных групп всегда незримо присутствуют в партийных предвыборных программах и в реальной, прагматической деятельности как правительства, так и оппозиции. Интересы социальных групп всегда присутствуют в предвыборной борьбе кандидатов со своими конкурентами, на каком бы административном или территориальном уровне выборы ни происходили. Кандидат, который в своей предвыборной программе не учитывает социальных интересов большинства своих выборщиков, имеет мало шансов вообще быть избранным. Политик, который в своей административной деятельности не руководствуется интересами основных социальных групп своего избирательного округа, имеет мало шансов быть избранным повторно.

В демократических странах картина довольно ясная. А вот кто и как "выражает интересы соответствующих общественных групп" в странах коммунистических? Реальный властвующий орган в Советском Союзе — ЦК КПСС. Если посмотреть на его состав, то мы увидим, что достойно представлены в нем только такие "общественные" группы, как партийные секретари высших рангов, министры, генералитет, высшие дипломаты. Все остальное — жалкая бутафория для демонстрации "присутствия".

Нет никакого — пусть плохонького, пусть несовершенного — механизма "выделения из своей

среды представителя своих интересов". Как тут "выделять", если даже собраться, если даже провозгласить себя общественной группой независимо от партийного руководства не имеет права? Где и как социальная группа может "найти защитника своих интересов"? Кандидат, который получил на "выборах" 99,9% голосов, представляет всех, а следовательно, — никого конкретно. Он, по сути, назначен, а не выбран, ему не нужно бороться с конкурентом за голоса разных общественно-социальных групп.

Итак, сказано "А": есть самые разные социальные группы. Сказано "Б": у них могут быть различные, даже противоположные интересы. Сказано "В": социальные группы должны иметь своих политических представителей. Дальше вступаем в сплошное "Г": никакого механизма выделения административных представителей социальных групп или нахождения среди политиков их защитников система реального социализма не имеет. Если отказаться от высокомерного упрека в адрес Заславской, что все ее рассуждения о социальных, общественных группах в советских условиях — голое и бессмысленное теоретизирование, то остается лишь сделать вывод, что ее теория социальных групп и их интересов — настоятельный призыв создать такой механизм. Возможно ли его "встроить" в систему реального социализма, не разрушая при этом саму систему, — это уже другой вопрос.

ЧУЖАЯ ФОРМУЛА

Если есть общественные, социальные группы с их различными, вплоть до противоположности, интересами, то соответственно есть и справедливое — или несправедливое — удовлетворение этих

интересов в рамках государства. Встает в полный рост понятие социальной справедливости. Еще недавно проблема "социальной справедливости" на чисто отсутствовала в идейно-теоретических, а тем более в публицистических статьях. Даже сам этот термин по отношению к советской действительности не применялся. Сегодня он весьма в моде.

Академик Т. И. Заславская — один из наиболее активных популяризаторов проблемы "социальной справедливости", ее чрезмерной актуальности в сегодняшних условиях. Это словосочетание вошло в заголовок ряда ее работ (4, 5, 6, 7), в других статьях теме социальной справедливости, вернее, ее нынешнему дефициту, посвящаются главы и большие абзацы (8, 9). Обосновать эту внезапно возникшую актуальность Т. И. старается в духе обычной критики "брежневского безвременья":

"В семидесятых и в начале восьмидесятых годов мы определенно упустили эту важнейшую сторону общественных отношений — социальную справедливость" (9).

А до этого — не упускали? До этого она была? В какие десятилетия в СССР принцип социальной справедливости осуществлялся наиболее полно и хорошо? В шестидесятые, в сороковые, в тридцатые? Или в двадцатые, в годы Гражданской войны, когда сотнями тысяч и миллионами летели головы "представителей" всех социальных слоев и групп?

Т. И., естественно, не касается "исторического пути" социальной справедливости, ее претворения в жизнь от истоков ("кто был ничем, тот станет всем" — этот мудрый и высокоморальный постулат навечно запечатлен в партийном гимне) до наших дней. Она ограничивается лишь констатацией: "понятие социальной справедливости носит исторически конкретный характер" (8), и конкрет-

но, в плане проекции на сегодняшнюю действительность, его анализирует.

”Применительно к перспективе развития социалистического общества под социальной справедливостью понимается установление политического, социального и экономического равенства общественных групп, то есть обеспечение социальной равноценности их положения при сохранении ряда различий в его конкретных проявлениях” (5).

С этих исходных позиций Заславская рассматривает принцип социализма ”От каждого — по способностям, каждому — по труду”. Эту формулу она анализирует — каждую часть отдельно — ставя вопрос: какие условия необходимы для того, чтобы каждая часть формулы могла быть претворена в жизнь наилучшим образом? В этом анализе нет сравнения с политическими и социально-экономическими структурами современных развитых стран, где не провозглашен принцип социализма. Однако такое сравнение произвольно проделывает сам читатель. И оно явно не в пользу социалистической системы.

Возьмем первую часть формулы. Чтобы каждый член общества трудился по способностям, необходимы, по мнению Заславской, как минимум, три условия (8).

1. Дети, рождающиеся в семьях с разным общественным положением, должны иметь, если не равные, то достаточно близкие ”стартовые условия” для развития своих способностей.

Конечно, абсолютного выполнения этого условия нет и не может быть нигде в мире. Сейчас правительства многих стран стараются демократизировать школьное обучение, сделать его одинаково доступным всем, в том числе и социально слабым слоям населения, стараются как можно дольше

протянуть "одинаковость" и не допускать дифференциаций. Однако это встречает сильное сопротивление самого общества. Очень многие родители видят в этом тенденцию к искусственной усредненности, к посредственности, к ориентации по самым неспособным.

Демократизация и "деэлитаризация" высших и специальных учебных заведений в развитых странах шла и идет очень быстро, особенно за последние десятилетия. Но и этому процессу есть естественные границы, так как никакое общество не нуждается в неограниченном количестве специалистов с высшим образованием. В каком-то плане они всегда останутся элитой.

Но посмотрим, как быстро шла дифференциация "стартовых условий" в системе реального социализма! Всего несколько десятилетий нормального, мирного развития, — а каких "успехов" в этой области Система достигла! Нигде в мире нет такого "узкого горлышка" специализированных школ и специальных высших учебных заведений, предназначенных главным образом для детей высшей партийно-государственной элиты. Хоть и научно-округленным языком, но об этом говорит и сама Т. И. Заславская:

"Возможности своевременного выявления и развития способностей детей и подростков существенно зависят и от места их жительства (город — село, центр — периферия); и от социально-экономического положения родителей (уровень доходов, место в структуре управления, социальные связи). Причем, чем выше ступень обучения (детский сад — школа — техникум — вуз), тем сильнее различия между социальными группами в доле тех, кто эту ступень проходит. Так, в некоторых наиболее престижных вузах большинство студентов —

в прошлом выпускники ограниченного числа лучших столичных школ” (8).

Если же “конечный результат” статистически расшифровать, то мы получим цифры, сообщенные 1-м секретарем московского горкома КПСС Б. Ельциным (10): 70% слушателей Дипломатической академии в Москве — из семей высокопоставленных функционеров. Та же картина в Московском институте международных отношений, Институте внешней торговли и на некоторых особо престижных университетских факультетах, связанных опять-таки в первую очередь с “внешней” деятельностью. Ни в каких Гарвардах, Оксфордах, парижской “Эколь Нормаль” нет ничего подобного, несмотря на их элитарные вековые традиции.

2. Зависимость шансов на получение рабочих и должностных мест в разных сферах хозяйства, отраслях, предприятиях и т. д. в первую очередь от личного трудового потенциала работника.

В условиях социально-рыночной экономики эта зависимость выполняется автоматически. Никакое предприятие не будет себе в ущерб держать работника, у которого образование, квалификация, уровень умственного развития, талант именно к данной работе (все факторы — из числа перечисленных Заславской) не соответствуют требуемым. Ни на каком предприятии, ни в какой отрасли не может быть руководителем работник только потому, что он “идеологически выдержан”, входит в круг несменяемой номенклатуры и обязательно призван чем-то руководить, независимо от своего “личного потенциала”. А при системе реального социализма нарушение указанной зависимости — в порядке вещей.

3. Обеспечение всем работникам реальной воз-

возможности трудиться с максимальной отдачей в полную меру своих сил.

Опять-таки, в условиях рыночной конкуренции это требование само собой разумеется. Тот, кто не способен обеспечить своим работникам такую возможность, конкуренции не выдерживает. Да и благодаря действующему в масштабах всего государства закону спроса и предложения это требование не слишком нарушается. Ну, а в системе реального социализма? Отклонения от этого правила с годами все увеличивались, и сегодня труд не в полную меру своих сил (творческих, интеллектуальных, физических) стал чуть ли не правилом. Взять хотя бы перечисление — весьма неполное — самой Т. И.:

”Рабочие, систематически простаивающие из-за отсутствия сырья, энергии, запчастей; учителя, не имеющие возможности преподавать так, как считают нужным и правильным; ученые, которым закрывают темы накануне их завершения; артисты, годами не получающие соответствующих их дарованиям ролей; инициативные хозяйственники, по рукам и ногам скованные запрещающими деловую активность инструкциями, работают ниже своих способностей. Их трудовая и творческая активность недоиспользуется обществом, и они сами не испытывают удовлетворения от труда” (8).

Если столько ”недоиспользуемых”, то сколько же в сумме теряет все общество? И как оно тогда может хорошо выполнять вторую, результирующую часть провозглашенной формулы — ”каждому — по труду”?

А эта часть ”формулы социализма” тоже есть функция трех обобщенных требований, которые Т. И. формулирует таким образом.

1. Распределение доходов (в первую очередь —

зарплаты) должно возможно точнее соответствовать количеству и качеству расходуемого работниками труда.

Т. И. признает, что очень трудно измерить разнообразнейшие "качества" труда, еще сложнее правильно сопоставить их между собой и вывести общее соотношение оплаты видов труда, различающихся по многим параметрам. А что может служить обобщенным критерием? Совершенно очевидно, что единственным "измерителем" (хотя, разумеется, тоже не абсолютным) может быть только закон стоимости. Но именно административные "корректировки" закона стоимости при их длительном воздействии создают глубокие и нарастающие диспропорции, которые, в сущности, являются олицетворением социальной несправедливости. Т. И. перечисляет основные стойкие диспропорции, сложившиеся за десятилетия насильственного государственно-административного воздействия:

"... заниженная оплата всех видов труда в непроизводственной сфере по сравнению с материальным производством, квалифицированного умственного труда по сравнению с квалифицированным физическим, труда руководителей по сравнению с трудом подчиненных, труда жителей Сибири и Дальнего Востока по сравнению с трудом жителей центральных и южных районов из-за недостаточного уровня районных коэффициентов, резкие различия в оплате одинакового труда работников предприятий и организаций разных ведомств" (4).

Неважно, верно ли Т. И. дает оценку несправедливостям в оплате труда. По большому счету, по-видимому верно. Но сам факт, что такие несправедливые диспропорции — постоянное явление, что их можно обобщить и сформулировать, что они

не "рассасываются" под воздействием закона стоимости — говорит о том, что осуществление принципа "каждому — по труду" состоит из одних про-
рех.

В условиях рыночной, товарно-денежной экономики справедливость оплаты строго по труду, по его количеству и, главное, качеству, тоже, разумеется, не абсолютно объективна. Субъективность восприятия здесь обязательно присутствует. Социально слабые слои населения считают, что "богатые" имеют слишком много и должны гораздо больше отдавать обществу — в форме ли прогрессивного налога, налога с оборота, налога на наследство и пр. Представители богатых или даже средних слоев могут, напротив, считать, что их квалифицированный творческий труд недооценивается, что налоги их слишком высоки и не стимулируют самоотдачу, а главное — капиталовложения в производство, приносящие пользу всему обществу. Но при всей субъективности диспропорций в оплате труда (в ту или иную сторону) они лежат только "по вертикали".

Такие "вертикальные" диспропорции в оплате труда есть, конечно, и в Советском Союзе. Причем, многократно усиленные "закрытостью" привилегий высших слоев. Но кроме этих, как мы видим, есть и много других постоянных несправедливостей, лежащих, если продолжить геометрические аналогии, по горизонтали, по диагонали и вообще в разных плоскостях. Это уже специфическая особенность системы реального социализма.

Борьба государства с обычной, "вертикальной" социальной несправедливостью протекает по известным и освоенным канонам. По мере своих возможностей, государство поддерживает социально слабые слои населения и "подрезает" доходы

сильных, могущественных социальных групп. При чем последнее старается делать так, чтобы не терялись стимулы к высококачественному и высокопроизводительному труду вообще. Но как бороться с разного рода "горизонтальной" несправедливостью? Это, собственно, забота только системы реального социализма, ибо только в ней образуются такого сорта несправедливости — в результате длительного административного насилия над законом стоимости.

А бороться с разного рода "горизонтальными" диспропорциями необходимо, так как все они — по закону обратной связи — отрицательно сказываются на первой части формулы "от каждого — по способности". Любая стойкая диспропорция, психологически воспринимаемая как ничем не мотивированная несправедливость, обязательно порождает "компенсацию" со стороны социальной группы, ощущающей себя без вины обкраденной. Воровство, взяточничество, служебные злоупотребления, повышенная миграция, чрезмерная текучесть кадров. Самая незаметная реакция (но она же и самая вредная для общества) — падение трудовой активности, социальная апатия. Все эти "компенсационные" реакции не могут не сказаться на том, что общество существенно "недобирает" от потенциального вклада каждого своего члена. То есть первая часть "формулы социализма", в дополнение к прямым снижающим факторам, еще значительно "урезается" компенсационными реакциями.

2. Достаточное социальное обеспечение нетрудоспособной части населения из общественных фондов потребления.

Здесь сравнение с развитыми демократическими странами особенно не в пользу системы реального социализма. Какой бы вид социального обеспече-

ния ни взять — пенсии по старости, по инвалидности, пособия по болезни, пособия безработным, социальная помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, беременным, семьям, потерявшим кормильца — все эти пособия в СССР мизерны, кратковременны, фиктивны или вообще отсутствуют.

Развитые государства Запада рознятся между собой по каждому из видов социального обеспечения из общественных фондов. Но в среднем обеспечение в любом из них несравнимо выше, чем в Советском Союзе. И это совершенно понятно, так как социальное обеспечение нетрудоспособной части общества есть прямая функция от его, общества, производительной эффективности, от накопленного богатства. Нельзя требовать, чтобы общество обеспечивало своих нетрудоспособных членов лучше, чем полноценных производителей общественных благ. А как советское общество обеспечивает рядовых производителей этих благ — достаточно хорошо известно.

3. Превращение денежных доходов населения в конкретные материальные и социальные блага.

Этот пункт тоже больно бьет по системе реального социализма. Достаточно вспомнить об огромной (по оценке западных специалистов — 200 млрд. рублей) сумме денежных знаков, скопившейся на руках населения и не обеспеченной эквивалентным количеством товаров и услуг. Совершенно очевидно, что в обстановке хронического товарного дефицита распределение товаров и услуг среди населения никак не может быть справедливым.

”В социалистическом обществе, где подавляющая часть доходов населения носит трудовой характер (как будто существует общество, где это не так! — А. Ю.), возможности превращения денег в материальные и социальные блага в принципе долж-

ны быть равными для всех. Это относится не только к торговле продуктами питания, модной одеждой, предметами длительного пользования, но и к приобретению кооперативного жилья, строительству личных гаражей, распределению туристических и санаторных путевок" (8).

Это — "в принципе". В реальности же в советских условиях этому мешают два сформулированных Т. И. обстоятельства:

1) несбалансированность предложения потребительских благ с платежеспособным спросом населения;

2) сохранение в советском обществе групп, живущих на нетрудовые доходы.

Нетрудно видеть, что эти два обстоятельства — характерные и специфические особенности реального социализма. Если же говорить о целых социальных группах, живущих на нетрудовые доходы, то самая многочисленная и паразитирующая на теле общества группа — партийная номенклатура. Тщательно охраняемая "закрытость" ее привилегий — убедительнейшее доказательство того, что материальное и социальное содержание этих привилегий не рассматривается никем (и самой номенклатурой в том числе) как честно заработанное ее, номенклатуры, трудовым вкладом.

КАК УРАВНЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ?

Выявить подавляющие социальную справедливость диспропорции, честно и нелицеприятно по отношению к власти их сформулировать, даже суметь свои выводы провозгласить публично — это лишь полдела. Что нужно сделать, чтобы исправить создавшееся положение? И, по возможности,

наибыстрейшим способом? В пропасть разного рода "пространственных" диспропорций мы скатывались десятками лет, выскочить из них одним большим прыжком невозможно.

Взять, к примеру, высказанный Т. И. тезис: у нас оплата труда руководителей занижена по сравнению с оплатой труда подчиненных. Кажется, впервые этот вывод сформулирован в такой категоричной форме. Психологически он воспринимается с трудом: ведь так много вокруг людей, любой ценой стремящихся в руководители! Но статистически он подтверждается: больше нигде нет такого количества работников, не желающих переходить на руководящие должности либо идущих на них неохотно, под давлением партийной дисциплины и негативных последствий отказа. Речь здесь идет, разумеется, о руководителях низшего и среднего звена; руководители высшего звена уже давно выбрали свой путь и он у них связан только с девизом — выше и быстрее!

Факты сегодняшней советской действительности говорят о том, что непропорционально большое количество людей, по своим внутренним качествам способных быть хорошими руководителями, уклоняются от карьерной борьбы и ищут "экологическую нишу" поспокойней. Не выстроена (вернее, выстроена неубедительно) стимулирующая структура административного роста и пополнения. Это не значит, что руководителей нехватает, — нет, их в Советском Союзе слишком много, и в этом основная причина их "недоплаты". Но руководителем становится не тот, кто хочет и может, а зачастую лишь тот, кто очень хочет. Нет полноценной системы отбора, потому что нет стопроцентной заинтересованности. А нет полноценной

заинтересованности, потому что искажены принципы и характер отбора.

Как разорвать этот порочный круг? Чтобы ликвидировать "недооплату" руководителей в целом, необходимо существенно, в несколько раз, сократить их число. Сегодня в сфере управления служат более 19 миллионов человек (это на 130 млн. работников; почти каждый шестой!). Только лишь число обладателей инженерных дипломов приближается к полдюжине миллионов. Как же это осуществить практически? Ветвистое управленческое дерево в СССР десятками лет безостановочно росло ввысь и вширь. Сегодня — это уникальный феномен, невиданный ни в каких капиталистических джунглях. Как его уменьшать: снимать крону, рубить сучьями, отдельными ветками или стричь по листикам? Задача! Не случайно руководители КПСС, уже давно брюзжащие на свой непомерно разбухший управленческий аппарат, никак не могут приступить к его сокращению по-настоящему (а косметически — ничего не даст, косметикой и в прошлом занимались много и без толку). Они ведь тоже уютно устроились на этих ветках и сучьях: а как невзначай слишком много нарубишь?

В похожий порочный круг попадает попытка разрешить любую стойкую диспропорцию развитого социализма, даже самую, казалось бы, локальную. Допустим, "различия в оплате одинакового труда работников предприятий и организаций разных ведомств" (4). Полноправное функционирование закона стоимости, конечно, быстро искоренило бы эту несправедливость. Но как это сделать без него либо с частичным его функционированием? Для государственной власти в тот или иной период то или иное ведомство выдвигается на первый план. По вполне, кстати, логичным причинам. (Мы уже

не говорим о вечно стоящем на первом плане военно-промышленном комплексе). Как его на этот первый план поставить и удержать, если не давать руководителям ведомств и предприятий дополнительных рычагов управления, дополнительных льгот и возможностей? Особых возможностей наделять своих работников жильем, особыми социально-культурными привилегиями, — что, естественно, тоже входит в понятие оплаты труда. Ликвидируйте эти рычаги — и что получится в итоге? Тогда уж надо, чтобы всюду исключительно и полноправно действовал закон спроса и предложения.

Т. И. говорит о "недоплате" труда жителей Сибири и Дальнего Востока из-за недостаточного уровня районных коэффициентов оплаты. Но что будет, если, стремясь установить социальную справедливость, эти коэффициенты повысить? Сама же Т. И. Заславская рассказывает об аналогичном случае (9). Стремясь уменьшить текучесть кадров в северных районах Сибири, повысили районный коэффициент к зарплате. И средний срок пребывания работников на Севере... сократился: время, необходимое для накопления определенной суммы денег (для покупки дома, автомашины), уменьшилось.

Советская практика обживания Сибири и Дальнего Востока уже доказала, что дело не в районных коэффициентах оплаты труда, дело гораздо сложнее. Качество обживания зависит от многих факторов, таких, как снабжение продовольствием, обеспечение жильем, насыщенность сферы обслуживания, социально-культурной инфраструктуры и пр. А как это все создать здесь много лучше, чем на "материке", без особой заинтересованности, особых привилегий? Опять заколдованный круг.

"Сейчас мы повышаем зарплату 75 миллионам

Трудящихся в производственной сфере. А между тем, низкий уровень оплаты труда в торговле, бытовом обслуживании, на предприятиях пищевой промышленности как бы специально рассчитан на то, что люди в натуре дополняют то, что не добирают деньгами... Надо выравнивать оплату труда в производственной сфере и в сфере обслуживания" (6).

Теоретически, конечно, надо. Но это легче сказать, чем сделать. Допустим, зарплату миллионам работников государственной торговли, сферы обслуживания, пищевой и легкой промышленности и пр. доведут до среднего уровня зарплат в производственной сфере. Во-первых, это еще больше увеличит "накопленный спрос", еще больше увеличит инфляцию, которая и так фактически идет в стране быстрым темпом. А это — удар по социально слабым слоям населения (пенсионеры, многодетные семьи, матери-одиночки и т. д.). Но устранил или хотя бы уменьшит это мероприятие хищения, воровство, сократит ли число "несунов"? Весьма сомнительно. Все эти пороки — функция главным образом хронического дефицита, а он не исчезнет от повышения зарплат.

Практика "недоплаты" социалистическим государством работникам торговли, сферы обслуживания и пр. сложилась из реальной жизни. И она по своему логична. Зачем им всем платить полную "производственную" зарплату, если и без того никогда не было недостатка в желающих занять соответствующие места? За некоторые даже давали большие взятки. В последние месяцы, правда, советская торговля лишилась 800 000 продавцов и их начальников (11): часть посадили, другие ушли сами, от греха подальше. Но это чисто временное явление, вызванное отнюдь не "недоплатой", а всесоюзной рубкой коррумпированного леса, при которой,

как обычно, летят и щепки. Такая "рубка" не может продолжаться долго, а ее психологически-сдерживающие последствия весьма ограничены по времени.

Доведение оплаты труда в торговле, бытовом обслуживании, на предприятиях пищевой промышленности и т. п. до нормального "производственного" уровня по большому счету ничего не изменит — ни качества обслуживания клиентов, ни нравственных традиций советского обслуживающего персонала. По-настоящему кардинальные перемены тут наступят только тогда, когда государство признает, что занимается не своим делом. Чем без конца взывать и грозить, плодить "штаты" и периодически сажать их за решетку, заниматься двойным и тройным учетом и контролем, распределять и перераспределять — не лучше ли отдать все эти "сферы" в частные руки? Они же кооперативные, акционерные и пр. А самому государству лишь взимать положенную дань в форме прогрессивного подоходного налога. Вот тогда общество выиграет по всем направлениям. А власть проиграет только по одному — идеологическому...

Если же говорить серьезно, то такая альтернативная постановка социальных проблем очень полезна. Даже если конкретные предложения, типа сделанных Т. И., неубедительны и паллиативны. Но их общественное обсуждение помогает быстрее прийти "до оснований, до корней, до сердцевины", помогает точнее выявить главные препятствия на пути оптимального разрешения конфликтных проблем.

То же самое можно сказать по поводу откровенных — и не слишком популярных — предложений академика Заславской о повышении цен на мясные и молочные продукты или на квартирную плату. Долгие годы заниженные цены (по сравнению с

себестоимостью государству) на такие продукты, как хлеб, молоко, масло, мясо, считались социальной доблестью системы реального социализма, считались заботой о наиболее бедных, малозарабатывающих гражданах. Во что эта "забота" выродилась — показало время. Т. И. беспощадно вскрывает социально-экономические пороки такой практики:

"Дотация на покупку этой продукции, выплачиваемая из государственного бюджета предприятиям, производящим мясные и молочные товары, составляет десятки миллиардов рублей. Откуда берется эта сумма? Ясно, что не из фонда зарплаты и не из фондов накопления. Единственным источником ее могут быть общественные фонды потребления... Ведь мясо и молоко дефицитны, зачем же искусственно, с помощью цен, не соответствующих действительной стоимости, дополнительно увеличивать их дефицитность?" (6).

"Что касается повышения цен на мясо и молоко, равно как платы за излишки жилплощади, то цель подобных мер — сократить искусственный дефицит этих крайне необходимых всем благ. Ведь сейчас мясо продается меньше, чем за половину того, во что обходится его производство.

Государственная дотация распределяется по странному принципу — в основном тем группам населения, кто покупает мясо по твердым государственным ценам. От такой системы выигрывает только определенная часть населения, проигрывает же основная масса трудящихся, особенно в сельской местности и небольших городах, снабжение которых мясом и молоком через магазины гораздо хуже" (12).

"Бесплатное распределение наиболее дефицитных благ и услуг (а жилье и услуги здравоохранения именно таковы) не может не влечь за собой их

расточительного использования и искусственного усиления их нехватки. К тому же вокруг распределения бесплатных (как и полубесплатных) благ нередко концентрируются различные сделки — спекуляция государственным жильем, сдача в поднаем излишков жилой площади по повышенным ценам, обмен жилплощади с крупными денежными доплатами и другое. Принцип платности благ и единства цен на одинаковые товары на территории всей страны свободен от таких недостатков” (5).

Секция по вопросам социальной справедливости в сфере распределительных отношений, которую возглавила академик Т. Заславская, считает, что

”... социально оправданные и необходимые преимущества в вознаграждении за труд должны находить выражение прежде всего в денежной оплате труда, а не в натуральных привилегиях” (7).

Эта секция ученых (социологи, экономисты, философы), организованная в конце 1986 года на Всесоюзной научно-практической конференции в Баку, считает также, что нужно постепенно отказываться от предоставления льгот, не несущих позитивной социальной нагрузки, то есть не оказывающих помощи нуждающимся.

”Это прежде всего государственная дотация к квартирной плате, бесплатные путевки в дома отдыха и пансионаты, предоставляемые здоровым людям” (7).

Однако в каждой статье, где Т. И. выдвигает подобные предложения, она не перестает подчеркивать: если возрастут выплаты населения государству через розничные цены и квартирную плату, то одновременно нужно столько же средств вернуть людям через повышение заработной платы.

”Старшее поколение помнит, — пишет Т. И., — что в конце 1940-х годов были резко, более чем

вдвое, повышены цены на хлеб, но одновременно все работающее население и пенсионеры получили прибавку к зарплате. Уровень благосостояния народа при этом не изменился, цена же на хлеб стала экономически обоснованной, расходовать его стали более экономно и уважительно" (12).

При всей теоретической убедительности рекомендаций академика Т. Заславской и ее сторонников, они имеют мало шансов на повсеместное внедрение. Социально-психологическое воздействие подобных мер, затрагивающих интересы десятков миллионов человек, чрезвычайно велико, и это, естественно, пугает "верхи". "Зачем повышать цены? Надо решать проблемы путем снижения себестоимости" — лейтмотив противников. Как будто этих призывов не было в прошедшие десятилетия! И как будто правильная цена не есть наиболее действенный инструмент повышения производительности труда, а следовательно, и снижения себестоимости продукта.

Вопрос лишь в "малом" — какая цена правильная? Как можно установить правильную розничную цену на хлеб, молоко, мясо, тем более — на квартирную плату, на продаваемые квартиры или дома? "Правильная" цена — розничная или оптовая, закупочная или потребительская, государственная или кооперативная — зависит от десятка меняющихся факторов, даже таких, как психологические или географические. "Правильная" цена неизбежно будет всегда в движении, в динамическом изменении. Вычисленная наиточнейшим образом (что тоже уже утопия), она устареет и станет тормозом уже через несколько лет, а при быстрых изменениях в обществе — и через несколько месяцев.

Конечно, если сегодня печеным хлебом выгодно кормить скот, то цена на хлеб (а, следовательно,

и на молоко, и на мясо) явно "неправильная". Но какая должна быть правильная, если рыночная цена на фуражное зерно в 3—4 раза выше цены выпеченного хлеба? Разве это реально — установить сразу "правильную" цену? В лучшем случае, можно лишь немного "подправить" заниженную. Что, кстати, и делается — путем "улучшенных" товаров и просто так, например, с января 1987 года цена на хлеб была тихо поднята на 20%. Без всяких компенсаций.

Какая должна быть цена на мясо, если сегодня рыночная его цена в 3—4, а "кооперативная" в 2,5—3 раза выше государственной? Даже при сегодняшней государственной цене на мясо среднестатистический житель СССР должен проработать почти 2 часа, чтобы иметь возможность купить килограмм свинины (в Англии — 37 минут, в США — 42, в ФРГ — 60, во Франции — 86). Даже по сегодняшней госцене рабочий должен трудиться более трех часов, чтобы купить детям килограмм курятины (в ФРГ — 17 минут, в США — 18, в Англии — 20, во Франции — 31). Можно ли представить себе мясные отделы магазинов, где цены в витринах свидетельствуют, что рабочий или служащий должен проработать полный рабочий день, а то и полтора, чтобы купить килограмм мяса или колбасы? Что пенсионерка за свою месячную пенсию может купить 6—7 килограммов мяса? Учитывая настроения в стране, представить себе такое трудно.

Т. И. подчеркивает необходимость компенсаций в форме повышения зарплаты и пенсий, эквивалентного повышению квартплаты и розничных цен. При этом она выражает беспокойство (вполне, вероятно, оправданное), что "первую часть выдвинутых мною предложений услышат, а вторую нет" (6). Но столько же средств вернуть всем социальным категориям технически невозможно.

Никакое повышение зарплаты не будет достаточной компенсацией при наличии многодетной семьи. Повышение пенсии (наверняка более чем скромное) никак не будет достаточной компенсацией вдове-пенсионерке с "излишками" жилплощади.

Здесь опять все упирается в убогость советских форм помощи группам населения с низким доходом. Рекомендации Т. И. и ее единомышленников вероятно и можно было бы осуществить в полном объеме, если бы в Советском Союзе социальные доплаты многодетным семьям были бы, например, на уровне Франции, доплаты от государства за снимаемые квартиры — на уровне ФРГ, продовольственная помощь малозарабатывающим семьям ("продовольственные пакеты") — на уровне США, да и вообще социальная структура поддержки низкодоходных групп населения — на уровне стран "загнивающего капитализма". Но для этого, увы, нужно также, чтобы и производительная мощь была бы на их уровне...

"ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИЛИ БЕЗРАБОТИЦА?"

Основным доказательством социальной несправедливости, господствующей на "рыночном" Западе, всегда выставлялась высокая безработица. "Что может быть несправедливей — у одних есть работа, а у других нет!" Солидные пособия по безработице, государственная социальная помощь, хорошо налаженная в развитых странах структура переобучения и переквалификации — все это советская пропаганда замалчивает. Главное достижение социалистической системы — уверенность советского человека в его завтрашнем дне — ничем не должно быть омрачено.

Но вот в ходе "революционной перестройки" и на горизонте Советского Союза замаячил призрак безработицы. Причем, безработицы массовой, одновременной для многих специальностей и даже отраслей, безработицы, к которой советское общество совершенно не подготовлено, ни материально, ни морально.

Заславская принадлежит к тем, весьма немногим, советским ученым и общественным деятелям, которые не стараются позолотить пилюлю или, отмалчиваясь, отсидеться в кустах, а говорят прямо и недвусмысленно: да, безработица в стране будет. Она неразрывно связана с переводом предприятий на принципы самокупаемости и самофинансирования.

"Нужно отчетливо понимать, что логическим следствием этих принципов будет банкротство, то есть закрытие тех предприятий, которые работали безнадежно плохо. Стоит нам последовательно провести в жизнь принцип самофинансирования предприятий (а без этого наше народное хозяйство не сделает требуемого шага вперед), как часть работников, заинтересованных в общественном производстве, начнет из него высвобождаться" (6).

Типичный, между прочим, пример "внимательного" отношения советской печати к терминологии. Теряют работу — это на капиталистическом Западе, у нас же от нее "в ы с в о б о ж д а ю т с я". Потерять — это проиграть, негативная интонация очевидна. Но "это сладкое слово — свобода"! Производство высвобождается от лишних людей, люди высвобождаются от работы — как хорошо! С момента, когда советская пресса заговорила (весьма, кстати, скупно и осторожно) о предстоящей массовой безработце, иной термин, чем "высвобождение" не применяется. Ну, а существительное какое бу-

дет? На капиталистическом Западе, там ясно — ”безработный” А у нас? ”Высвобожденный”? ”Освобожденный”?

Красивой терминологией, однако, людей не успокоишь. Поэтому всячески доказывается — вопреки логике, вопреки математике, вопреки своим же поставленным задачам, — что нашей советской экономике безработица (пардон, высвобождение) не грозит. Это утверждает даже довольно откровенный в других темах Горбачев: слишком уж взрывчата перспектива безработицы в СССР. Так, на вопрос корреспондента ”Юманите”, не является ли безработица неизбежной ценой модернизации производства, Горбачев ответил:

”В условиях плановой, нацеленной на всемерное удовлетворение общественных потребностей экономики такой связи нет” (13).

Это не что иное, как повторение привычных постулатов ”научного социализма”, вошедших в прямой конфликт с требованиями реальной жизни. Заславская, как мы видели, считает иначе. Горбачев успокаивает: ”пока это вопрос для нас почти академический”. Сейчас, мол, у нас совсем иные заботы, прямо противоположные:

”В настоящее время только в промышленности насчитывается около 700 тысяч незанятых рабочих мест. И это практически при односменной работе оборудования. При выходе на коэффициент сменности 1,7 число пустующих рабочих мест в промышленности превысит 4 миллиона” (14).

На это президент отечественной социологической ассоциации как бы отвечает:

” ... эти фиктивные вакансии сосуществуют со скрытыми излишками рабочей силы. По-видимому, значительная часть таких вакансий исчезнет, как только мы перейдем на принцип самофинансирова-

ния. Другая часть вакансий, конечно, останется и в новых экономических условиях. Но если они находятся в восточных районах страны; в отраслях с тяжелыми условиями труда, то весьма не тривиален вопрос о способах перемещения рабочей силы из одних районов в другие. Поэтому простая ссылка на большое количество вакантных должностей не очень убедительна. Существенное повышение коэффициента сменности работы оборудования предполагает не только привлечение дополнительных работников, но и наличие дополнительного сырья, энергии, топлива” (6).

Очевидно, что Татьяна Ивановна оценивает ситуацию честнее и объективнее Михаила Сергеевича. Горбачев говорит о потенциальных четырех миллионах вакантных рабочих мест в промышленности. Но если предприятия действительно перейдут на полный хозрасчет, если переход на самофинансирование и самокупаемость претворится в реальность, а не останется очередной фикцией, то эти 4 миллиона испарятся, как дым. И дело даже не только в скрытых излишках рабочей силы: станут излишними целые предприятия, и в немалом числе. Кто же станет покупать новое и дорогое оборудование, если и старое очень слабо используется — простаивает, ждет ремонта, работает всего в одну смену? И все предприятия сразу перестанут широкой рукой (“запас кармана не тянет”) приобретать сырье, топливо, материалы, инструмент, полуфабрикаты и т. д. Сейчас всеми правдами и неправдами создавать запасы необходимо, чтобы не поставить под угрозу Его Величество Государственный План. Но в новых, пока теоретических условиях, когда самому предприятию неясно — будут ли через год покупать его продукцию? — излишние запасы станут больно бить по карману. И что тогда делать тем

предприятиям, которые выпускают отнюдь не изделия первой необходимости, а материалы и полуфабрикаты, которых у потребителей накопились горы?

А что делать тем поставщикам, чьей продукции непривередливый в прошлом заказчик впредь предпочтет высокопроизводительные и высококачественные иностранные станки, машины, инструменты? Ведь — по замыслу — все большее число основных предприятий получит право на прямые связи с иностранными фирмами и на самостоятельное использование валюты, полученной от высших инстанций или от экспорта.

Здесь безусловно скажется стрессовый характер процесса, одновременный переход всех на работу по новым, совершенно иным принципам. В условиях рыночной экономики "естественный отбор" предприятий идет годами и десятилетиями, медленно и сравнительно плавно. И то конъюнктурные приливы и отливы создают довольно высокие "волны" безработицы. Какого же "девятого вала" можно ожидать в СССР!

В. Г. Костаков, доктор экономических наук, заместитель директора Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР, человек, который первым в Советском Союзе осмелился заговорить о предстоящей безработице, высоту этого "вала" оценивает весьма осторожно:

"... самый близкий, лежащий на поверхности избыток работников составляет не менее десяти миллионов человек (из 130 с лишним миллионов занятых в народном хозяйстве)" (15).

Основу этой цифры безусловно составили все те же "излишки" рабочей силы. Ведь советским официозом уже открыто признается, что у нас нередко

2—3 человека выполняют работу, с которой справится и один. Конечно, В. Костаков не мог учесть всех тех, кто потеряет работу в результате цепной реакции банкротств и закрытий предприятий. Да этого и никто не может учесть, так как совершенно неизвестно, насколько полно и последовательно будет осуществляться принцип самоокупаемости.

Наверняка также в этой цифре не нашла отражения необходимость радикального сокращения административно-управленческого аппарата, ликвидации ненужного параллелизма, ненужной идеологической надстройки, весьма многочисленной, необходимость существенного сокращения армии, военно-промышленного комплекса, КГБ, непомерно раздутой сети научных и научно-исследовательских институтов. Такое радикальное сокращение производительных, надстроечных элементов — первоочередно. Конечно, если с требованиями "полного хозрасчета" подходить не только к отдельным предприятиям и производственным отраслям, но и ко всему государству в целом.

Если "высвободить" всех, чей конечный вклад в валовой национальный продукт измеряется нулевой, а то и отрицательной величиной, то "избыток работников" наверняка составит много больше десяти миллионов. А ведь даже 10 миллионов на 130 миллионов занятых — это примерно 8%, то есть уже средняя величина безработицы в развитых странах Запада. При этом надо учесть, что в Советском Союзе фактически и сейчас есть безработица, только пособий безработным не выплачивается и подсчитать их поэтому невозможно. Западные специалисты оценивают реальную безработицу в СССР в 2—3% от трудоспособного населения. Это — безработица сезонников, безработица в районах с плохо развитой промышленной инфраструктурой,

главным образом в южных республиках (Молдавия, Закавказье и особенно Средняя Азия).

Порайонная безработица показывает, что уже сегодня вопрос о способах перемещения рабочей силы, как изящно выражается Заславская, "не тривиален". А что же будет при наступлении массового, стрессового "высвобождения"? Ведь нужно учесть, что люди в Советском Союзе гораздо менее мобильны и подвижны, чем в Западной Европе, не говоря уже о Соединенных Штатах. Особенности советской системы создают мощные "якоря", удерживающие людей на насиженных местах.

1. Они боятся потерять "прописку" в своем родном городе. В случае чего, ее потом так легко не получишь.

2. Они не могут сдать или продать свою квартиру или дом, а на месте новой работы снять или купить себе такое же жилье. Повсеместный жилищный кризис делает переезды трудным и рискованным делом.

3. Слаборазвитый индивидуальный транспорт и плохие дороги делают невозможным большой радиус поисков работы.

4. Большая неравномерность в продовольственном снабжении разных районов страны. Этот, абсолютно неизвестный в нормальных странах фактор создает существенное торможение необходимой мобильности населения.

5. Огромная разница в социально-культурных условиях жизни между городом и деревней, между разными районами страны. Эта разница характерна лишь для самых бедных стран мира.

Мобильность путем оргнабора, агитации и фактической мобилизации молодежи на новостройки Сибири и Дальнего Востока — это в контексте рассматриваемой проблемы отнюдь не то, что нужно.

Это сугубо временный, "десантный", в сущности, хищнический способ трудоустройства населения. Из советской же прессы хорошо известны минусы для обеих "сторон" — как для временных переселенцев, так и для экономики страны в целом. Эта практика не годится даже для нормального обживания новых мест, а тем более для динамичного и в то же время максимально плавного реструктурирования промышленности.

Поэтому совершенно права Т. И., когда приходит к выводу: "Пожалуй, наиболее реальные возможности использования высвобождающегося труда связаны с расширением сферы обслуживания, которая пока еще плохо развита, а также расширением индивидуальной и семейной трудовой деятельности" (6).

Иными словами, вернуться к рубежам нэпа. Насколько был бы выше уровень страны, если бы "индивидуальная и семейная трудовая деятельность" искусственно, идеологически не подавлялась!

Конечно, сфера обслуживания в Советском Союзе развита отвратительно. Но было бы иллюзией полагать, что ее можно одним большим скачком довести до уровня высокоразвитых стран. Рост и расширение обслуживающей инфраструктуры — медленный процесс, целиком зависящий от реального (не фиктивного!) роста национального дохода, от уровня богатства всего общества. Лишь высокоразвитые страны могут себе позволить прогрессивные формы и полное насыщение взаимного обслуживания, для бедных стран это недостижимая роскошь. Поэтому сфера обслуживания в СССР сможет, конечно, вобрать какое-то количество "высвобождаемых", но очень уж большим это количество не будет.

Тем не менее, следует полностью согласиться с Заславской, когда она призывает не пугаться заранее остроты проблемы "высвобождения". Сегодняшняя "альтернатива" гораздо хуже.

"Невозможно, чтобы каждое предприятие по-прежнему держало лишних людей только для того, чтобы "решать" социальные проблемы. Так мы никогда не получим высоких темпов роста производительности труда" (6).

"И возвращается ветер на круги своя". Развевая по пути миф о несовместимости реального социализма с безработицей, миф о какой-то особой уверенности советского человека в своем завтрашнем дне.

ЗАРЖАВЕВШИЙ ИНСТРУМЕНТ

Свежий ветер правды развеивает коммунистические мифы — уверенность в завтрашнем дне, равенство возможностей, одинаковость интересов, социальная гомогенность и гармония... Образы, которые советская пропаганда лепила десятилетиями, рассеиваются "яко дым". Все яснее видна глубина пропасти, в которую скатилась страна: социальная несправедливость, колоссальные диспропорции доходов, запущенные болезни и пороки. Как выкарабкаться из этой пропасти с минимальными потерями? На какую диспропорцию обратить первоочередное внимание? С чего начинать ее исправление? Ведь все они вместе и каждая в отдельности замыкаются в один порочный круг. Какие звенья этого круга рвать первыми?

В "чертов круг" замыкается сам процесс перестройки. Еще в своем "Новосибирском меморандуме" Т. И. Заславская отметила, что

”производственные отношения представляют собой целостную систему, все элементы которой взаимосвязаны. Это проявляется в их способности ”отторгать” экспериментально внедряемые в них элементы более эффективных, но качественно отличных экономических отношений” (1).

Иными словами, неторопливый ”поузловой ремонт экономического механизма” не осуществим. Управление экономическим механизмом должно быть преобразовано достаточно быстро, чтобы ”реакция отторжения” одного элемента системы не успевала перекинуться на другой ее элемент.

Прошло четыре года. И академик Заславская предостерегает от чрезмерной спешки в осуществлении радикальных преобразований:

” ... в условиях спешки реальные изменения могут быть подменены бюрократическими отчетами, деятельность, действительно преобразующая, — псевдодеятельностью, выполнением ”спущенных” показателей. (Опыт массового распространения коллективного подряда дает немало примеров такого рода). Это кажется парадоксальным, но бюрократизация самого процесса демократизации общества представляет вполне реальную угрозу. В результате могут быть скомпрометированы принципиальные идеи перестройки” (2).

Т. И. выражает опасение, что при одновременном осуществлении радикальной реформы общественных отношений наука не успеет дать нужных обоснований, и практическое преобразование опять пойдет методом ”проб и ошибок”.

”Но и затягивание перестройки — предостерегает Т. И. — угрожает не меньшими опасностями. Об этом можно судить хотя бы по венгерскому опыту... Затяжка преобразованиями может вызвать недовольство людей, а при определенных усло-

виях — и постепенное отступление от поставленных целей, 'замирение' перестройки" (2).

Ситуация, как в сказке: налево пойдешь — голову сложишь, направо пойдешь — коня потеряешь...

Но идти надо. И в этом пути у общества, как у заблудившегося путника, должна быть надежная карта, правильно действующий компас. Такой картой и таким компасом может служить только социология. Не заведший в пропасть марксизм-ленинизм, не плодящий диспропорции и пороки "научный социализм", но социологическая наука, методами и выводами которой сегодня широко пользуются во всех развитых странах. И чем развитее и гармоничнее гражданское общество, тем увереннее и точнее оно пользуется инструментарием социологической науки.

Академик Т. И. Заславская прилагает много усилий для повышения роли и авторитета социологической науки. Недаром она в конце 1986 года была избрана президентом Советской социологической ассоциации. Начиная с получившего мировую известность доклада на всесоюзном семинаре социологов (1), она не перестает подчеркивать необходимость существенного развития социологической науки в стране, в первую очередь ее наиболее актуального направления — экономической социологии. В целом ряде статей (3, 6, 7, 12, 16, 17, 18) Т. И. подчеркивает важность социологических обследований и исследований для правильного решения конкретно встающих проблем перестройки. Именно в период перестройки всего экономического механизма обоснования социологической науки особенно важны. Волонтаристский метод "проб и ошибок" тут еще дополнительно связан с усилением "реакций отторжения" и, как след-

ствием, — дополнительными разочарованиями и социальной апатией.

Т. И. прямо говорит о том, что на протяжении последних десятилетий власти держали социологию на научных задворках. Темпы ее роста в последние 10—15 лет были чрезвычайно низкими.

”В результате сегодня в СССР социология намного слабее, чем, скажем, в Польше или Венгрии, чем в развитых капиталистических странах... Если у нас в 1989 г. будет выпущена первая сотня профессиональных социологов с высшим образованием, то 226 социологических факультетов США ежегодно выпускают 6 000 специалистов, основами же социологических знаний овладевают около 90 тысяч американцев. Если у нас специализированные учебные курсы по социологии читаются лишь в единичных профильных вузах, то в США — в абсолютном большинстве высших учебных заведений (92%). Все это говорит о существенном отставании советской социологии от ’мировых стандартов’ ” (18).

Сами социологи тоже поддаются влиянию нравственного климата, царящего в отечественной науке. Характерны ”робость социальной мысли, отсутствие гражданского мужества, нежелание многих ученых братья за изучение острых проблем” (3).

”Должны мы признать — пишет Т. И. — и причастность социологии к формированию ”полуправдивого” взгляда на проблемы нашего общества. Многим социологическим исследованиям, проводившимся в 70-х — начале 80-х годов, не удалось избежать лакировки действительности. Коллекционируя позитивные факты, некоторые социологи закрывали глаза на набиравшие силу негативные явления” (3).

Т. И. неоднократно подчеркивает, что общество

не только имеет право, но **о б я з а н о** знать всю правду о себе, какой бы неприятной эта правда ни была. А социология — тот измерительный инструмент, каким ученые эту правду добывают и перерабатывают для всеобщего употребления.

”Чтобы организовать и управлять... необходимо прежде всего иметь четкое представление о действительном состоянии объекта. Оно должно быть правдивым, даже если очень неприятной и даже жестокой окажется извлеченная исследованием правда о реальном положении дел и настроении людей. Оно должно быть не частичным, а системным и целостным. Вот почему нет и не может быть закрытых для социологии зон...” (17).

Откровенно говоря, трудно представить себе полное открытие для социологов всех ”зон” в стране, где слова ”закрытый/ая, ое/” и ”зона” широко применяются в устном народном творчестве и в самиздатских произведениях, но почти никогда — в произведениях официальных... Если о всех социально-общественных болячках страны будет знать социология, значит должно будет знать все население страны — иначе для чего социология? Если все будут знать, то будут обсуждать и спорить — иначе для чего знание? Если будут обсуждать и дискутировать, то будут докапываться до основополагающих причин и стараться их изменить — иначе для чего докапываться? Тогда это уже будет другая страна и другая система.

Пока что, увы, все шло как раз в обратном направлении — в сторону все большего ”закрытия”. Это отмечает Т. И. в главной идеологической газете страны:

”Среди развитых стран мы занимаем одно из последних мест по уровню социальной статистики. Оговорюсь, что, с моей точки зрения, социальной

статистикой надо считать не то, что лежит в хранилищах ЦСУ, а тот конечный результат обработки данных, который публикуется в открытой печати и доступен широкому кругу людей. Со второй половины 70-х годов ее развитие свертывалось. Так, например, публикация данных Всесоюзных переписей населения с 1959 года становилась все более скудной. От ученых-обществоведов "закрывались" все новые разделы социальной информации" (18).

Случайно ли это? Виной ли тут субъективные ошибки коммунистических вождей, всех подряд? Либо это естественная защита Системы, осознавшей свою неэффективность? Правящая номенклатура, потеряв первоначальный импульс фанатичной веры и оглянувшись вокруг (во гневе или в страхе), поняла, что сохранить Систему от разрушения можно только, окружив ее надежным панцирем "закрытости". Будь то "граница на замке", глушение зарубежного радио, преследование за Самиздат и Тамиздат или утаивание статистических данных. Все это — явления одного порядка: предохранение Системы от разлагающих влияний свободной мысли. Наверное, в этом корень всех тех "почему?", которые ставит перед читателем академик Заславская:

"Не публикуются данные о степени распространения преступности, частоте самоубийств, уровне потребления алкоголя, наркотиков, экологической ситуации в разных городах и районах, хотя названные явления составляют традиционный предмет статистики экономически развитых стран. Исчезли из печати данные о миграции населения между регионами, городом и селом. А почему закрыты данные о структуре заболеваемости населения? Почему столь скупо публикуются сведения

о дифференциации уровня и структуры доходов, благосостояния населения?" (18).

Если честно информировать, например, об экологической ситуации во всех районах страны, то есть сообщать людям, каким воздухом они дышат, какую воду пьют и насколько химически заражены растительные продукты питания, то надо считаться и с последствиями: вынужденным закрытием сотен промышленных предприятий. Ведь многие из них работают не только без полного регенерационного цикла, но вообще без каких-либо очистных сооружений, без надежных фильтров и отстойников.

Когда в октябре 1986 года госсанинспекция СССР закрыла Приозерский целлюлозный завод, окончательно отравивший Ладожское озеро, министр лесной и бумажной промышленности М.И.Бусыгин заявил на встрече с Минздравом СССР:

"Да не верю я, что возникла опасность для Ленинграда. У меня подобных точек еще двести насчитать можно — такое хозяйство принял — что же, все закрывать?.." (19).

Ну, а если бы регулярно, в течение ряда лет печатались данные о прогрессирующем отравлении Ладоги, если бы эти данные обсуждались средствами массовой информации, — мог бы министр "не верить"? И что сказали бы жители затронутых районов (хотя бы возле тех "двухсот точек" одного министерства), зная уже не "вообще" а с конкретными цифрами на руках, как изо дня в день отравляются их окрестные реки и озера?

О наркомании в прессе начали писать совсем недавно, но точных цифр порайонного количества наркоманов и динамики роста этого социального бедствия по-прежнему нет. Да что наркомания! Даже начав борьбу со страшным бичом алкоголизма, правительство не сообщило народу всей ста-

тистической правды о трагических последствиях "пьяного безумия". Социологическое исследование ученых Новосибирского отделения АН СССР (20) распространялось в Самиздате, но опубликовано никогда не было. И понятно почему: из него совершенно явно вытекает, что дело не в "исторических традициях", а в коммунистической практике. Массовое алкогольное отравление народа произошло, по сути, в последние 20 лет, с 60-х годов. Статистические последствия — бурный рост числа олигофренов (дебиллов) — тоже фактически скрываются от народа. "Эти цифры страшны, не будем вас пугать..." — сказал Горбачев на встрече с писателями (21). Даже избранных писателей боятся "пугать".

Т. И. пишет, что не должно быть "зон и групп вне социологических исследований" (18). Но социологические исследования, не доведенные до народа, ничего не стоят. Социология "сама в себе" никому не нужна, это даже не искусство для искусства.

Если бы данные о структуре заболеваемости населения открыто обсуждались, не нужно было бы ждать, пока новый министр здравоохранения СССР Е. Чазов приоткроет неспециалистам хронические слабости и недостатки советского здравоохранения (22). (А что он будет говорить, когда станет уже "старым" министром?). Даже сегодня, когда официальная статистика "признала" резкое и ненормальное падение средней продолжительности жизни мужчин, настоящего анализа этого явления нет. И понятно почему: при настоящем анализе нужно было бы не глухо валить все на пьянство, а давать конкретные цифры. Сколько юношей гибнет каждый год в Афганистане? Сколько погибших при производственных, транспортных, экологических катастрофах? Как отнесутся верховные идеологи и пропагандисты к такому анализу?

Полноценные социологические исследования естественным образом предусматривают "чистоту" исходных данных. Если притоки загрязнены, то и река не будет чистой. Можно ли по-настоящему анализировать данные о степени и динамике распространения преступности, если эти данные уже с мест поступают искаженными? Милицию и правоохранительные органы "бьют" за увеличение преступности — лишают премий, ругают на совещаниях, снимают начальников. Естественно, они отвечают сокращением числа преступлений, "показывая" лишь то, что не портит общих "показателей". Нигде в мире нет такой порочной зависимости материального благополучия работников правоохранительных служб от благополучия статистического. Социологический анализ в таких условиях теряет всякий смысл.

Допустим, "сведения о дифференциации уровня и структуры доходов" начнут широко публиковаться в печати. Так тут же последуют претензии: вы эту дифференциацию покажите честно! А честно — значит обязательно учесть "березкинско-распределительный" фактор. Мол, "мы" должны самое необходимое покупать по рыночным и спекулятивным ценам, а "они" — по твердым или даже заниженным. Как его учесть, "березкинско-распределительный" фактор? И потерпит ли партийная номенклатура, чтобы этот "фактор" правдиво и открыто освещался в печати?

Истинный социологический анализ неотделим от детального сравнения с другими странами, сравнения по всей гамме параметров и по динамике изменений каждого из них. Без этого социология будет напоминать измерительный инструмент без метрического эталона. А что знает советский человек об основных статистических показателях

экономически развитых стран, об их изменениях во времени, о причинах этих изменений? Недостаточно возобновить публикацию сведений об урожае зерновых в стране (которые было бы очень неплохо дополнить данными потерь зерна и анализом их причин). Важно знать, какова средняя урожайность с гектара в других странах, как и почему она растет. Какова производительность современных зерновых хозяйств, то есть урожайность в пересчете на одного работника? Ведь стремительный рост урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур в последние десятилетия, рост не только в развитых, но и в развивающихся, бедных странах мира — это приговор колхозной системе. Тот самый — окончательный и обжалованию не подлежащий.

Почему в экономически развитых странах средне-статистическая молочная корова дает в 2,5—3 раза (!) больше молока, чем советская корова? Такая разница никак не может быть случайной. Почему в промышленных странах Европы в холодильниках скопились горы "лишнего" мяса, а в Советском Союзе хронический мясной дефицит? Может быть, в России лугов меньше, чем в Англии или Федеративной Германии? Такие "почему" тоже должны найти ответ в социологических анализах.

"Обобщенные сведения", о которых говорит Т. И., органически включают аналоги по другим странам, а полнокровный социологический анализ немислим без сравнения с лучшими мировыми образцами.

"Скрывая от людей обобщенные сведения об условиях их собственной жизни... нельзя ожидать их активизации ни в производственной, ни в политической сферах. Доверие и поддержку людей мож-

но получить лишь в ответ на доверие к ним самим" (18).

Инструмент под названием "социология" очень быстро покажет, готово ли партийное руководство оказать это доверие своему народу. И готово ли оно на необходимые изменения Системы, когда социологический прибор о них просигналит? Или Система, после краткого освещения робкими социологическими лучами, опять начнет, как улитка, заползать в скорлупу "закрытости"?

*

Академик Т. И. Заславская, безусловно, не строит себе иллюзий в отношении трудности, сложности и продолжительности начавшегося в стране процесса "революционной перестройки". Ее "революционные взгляды" (12) отнюдь не сродни взглядам утопистов-марксистов, считавших, что "диктатура пролетариата" автоматически приведет к построению лучезарного бесклассового общества. Академик Заславская не перестает подчеркивать, что предстоит долгая и суровая борьба "социальных групп" за свои столь различающиеся, порой даже противоположные интересы. Но эта борьба должна выйти из-под спуда на поверхность. Ее честная "открытость" — залог естественного и правильного общественного развития. На этом пути сделаны только первые шаги, но недооценивать их не стоит.

"Мы заново учимся смотреть правде в глаза, и один только этот факт, может быть, стоит всех остальных" (3).

Вместо комментария поставим к этой фразе восклицательный знак.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Новосибирский меморандум. Доклад Т. И. Заславской на всесоюзном семинаре социологов в апреле 1983 г. "Посев", № 10, 1983.
2. Гарантия успеха — наши собственные действия. Беседа с академиком Т. И. Заславской. "Известия", 21.4.1987.
3. Т. И. Заславская. Роль социологии в ускорении развития советского общества. "Социологические исследования", № 2, 1987.
4. Т. Заславская. По принципу социальной справедливости. "Труд", 15. 7. 1986.
5. Т. Заславская. Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость. "Коммунист", № 13, 1986.
6. Справедливость на весах экономики. Беседа с участием академика Т. Заславской. "Социалистическая индустрия", 7. 2. 1987.
7. Как понимать социальную справедливость. Рекомендации секции по вопросам социальной справедливости в сфере распределительных отношений, которую возглавила академик Т. Заславская. "Аргументы и факты", № 6, 1987.
8. Академик Т. И. Заславская. Творческая активность масс: социальные резервы роста. "ЭКО", № 3, 1986.
9. Тактика перемен. Беседа с академиком Т. И. Заславской. "Известия", 18. 4. 1986.
10. Б. Н. Ельцин. Выступление на пленуме МК КПСС. "Московская правда", 20. 7. 1986.
11. С. Саруханов. Как перестраивается торговля. "Литературная газета", 3. 12. 1986.
12. Личность ученого и перестройка. Беседа с академиком Т. И. Заславской. "Аргументы и факты" № 11—12, 1987.
13. М. С. Горбачев. Ответы на вопросы газеты "Юманите". "Коммунист", № 3, 1986.
14. М. С. Горбачев. Доклад на пленуме ЦК КПСС в июне 1986 г. "Коммунист", № 10, 1986.
15. В. Г. Костаков. Занятость: дефицит или избыток? "Коммунист", № 2, 1987.
16. Выбор стратегии. Беседа с академиком Т. И. Заславской. "Известия", 1. 6. 1985.

17. Служба человека. Беседа с президентом Советской социологической ассоциации академиком Т. И. Заславской. "Известия", 21. 12. 1986.

18. Академик Т. Заславская. Перестройка и социология. "Правда", 6. 2. 1987.

19. Павел Гутионов. Черное озеро. "Советская Россия", 16. 10. 1986.

20. Итог пьяного безумия. Социологическое исследование группы ученых Новосибирского отделения АН СССР. "Посев", № 3, 1985.

21. Выдержка из беседы М. С. Горбачева с членами Союза писателей СССР. "Страна и мир", № 11, 1986.

22. Интервью с министром здравоохранения СССР Е. Чазовым. "Правда", 13. 4. 1987.



ПРИКОСНОВЕНИЕ К ТАЙНЕ

Социально и политически мыслящий читатель, привыкший выискивать в потоке литературных публикаций новые достижения "гласности" и "перестройки", может сказать, что Андрей Битов стоит в стороне от нее. В отличие от многих других, он не пишет ни о преступности, наркомании и прочих негативных тенденциях, ни о необходимости укрепления нравственного здоровья народа. Кажется, его не волнует и так называемый литературный процесс, которому теперь надлежит выказывать больше ускорения. Битов как писал, так и продолжает писать. На вопросы иностранных корреспондентов отвечает нехотя, осторожно.

Если "перестройка" в чем-то и помогла Битову, то не в писании, а в опубликовании написанного. Так, только за первые четыре месяца 1987 года, накануне 50-летия писателя, в разных, наиболее интересных сегодня журналах мы нашли четыре публикации его рассказов*, а на одном из выступлений в США в мае Битов подтвердил, что готовится к печати полный текст "Пушкинского дома" (этот роман до сих пор печатался в СССР в отрывках; полный текст вышел в американском издательстве "Ардис" в 1987 г., что принесло Битову, как и его участие в 1979 году в самиздатском альманахе "Метрополь", некоторые неприятности). И во всех опубликованных в этом году рассказах Битов остался верен своей отстраненности от актуальной социально-политической проблематики.

* Андрей Б и т о в. Рассказы:

"Фотография Пушкина (1799—2099)". — "Знамя" № 1, 1987.

"Человек в пейзаже". — "Новый мир" № 3, 1987.

"Преподаватель симметрии". — "Юность" № 4, 1987.

"Вкус". — "Огонек" № 17, 1987.

Тем не менее Битов — ставит он себе эту задачу или нет — один из активнейших участников перестройки: перестройки самого отношения к литературе, которая вовсе не обязана быть инструментом влияния правительства на народ, пусть даже влияния положительного. Для этого в нормальных государствах есть законы, органы контроля за их соблюдением, в конце концов — пресса. Духовная ценность литературы неизмеримо выше всяких общественно-политических нагрузок, даже выше той важной функции либерализации общества, которую ей приходится выполнять в тоталитарном обществе, где нет иных возможностей обсуждения этих проблем. Литература имеет самостоятельную ценность в постижении вечных вопросов бытия, и Андрей Битов, не вписываясь в прагматические представления о литературе, утверждает ее в этом значении.

Лишь постольку, поскольку в тоталитарном обществе эти вечные вопросы тоже существуют и даже более обнажаются, — так как идеология этого общества ведет постоянную войну с человеческой природой, — то и в произведениях Битова присутствуют реалии тоталитарного общества как выпавший на нашу долю частный случай мироустройства.

То есть, писатель не делает общественно-политические проблемы исходной точкой своего художественного исследования и не населяет свои произведения в соответствии с этой целью действующими лицами. Его произведения построены по обратному принципу: в центре всегда индивидуальное ощущение и постижение мира героем. И если при этом мир выглядит не таким, каким должен быть по правилам социалистического реализма — то это не злонамеренный антисоветизм писателя, как, видимо, сочти те, кто запретил печатать в СССР "Пушкинский дом". У Битова о противоречии с партийной идеологией можно говорить лишь в той мере, в какой эта идеология сама противоречит законам жизни человека и общества.

Последние рассказы Битова укрепляют нас в такой характеристике его творчества.

Более всего актуальная проблематика присутствует в рассказе "Человек в пейзаже", опубликованном в мартовском номере "Нового мира". Начало его можно даже назвать социально-критическим, ибо действие происходит в запущенном бывшем монастыре, о котором писатель размышляет так: "Никогда, ни в каком буреломе не можете

вы наблюдать той мерзости запустения, как в разоренном культурном пространстве! О, насколько одичание дичее дикости!.. Кто же это все развалил? Время? История?.. Как-то ускользает кто и когда. Увидеть бы его воочию, схватить бы за руку, выкрутить за спину... Что-то не попался он мне. Не встречал я исполнителя разрушения, почти так, как и сочинителя анекдота... Одни любители да охранители кругом. Кто же все это не любит, когда мы все это любим? Кто же это так не любит нас?..”

Но разрушенный монастырь — лишь фон, на котором особенно пронзительно звучат основные вопросы, занимающие героев рассказа и отраженные в названии: “Где человек? кто человек? и зачем человек?” Пейзаж, то есть мир, столь прекрасен и продуман, что в его замысленной сотворенности трудно усомниться, считает художник Павел Петрович. Но зачем Творцу понадобилось поместить в этот пейзаж еще и человека, да не просто как умную зверюшку, а создать его “по Своему образу и подобию”?

Найденный ответ предполагает в Боге творца-художника: “Мир был сотворен художником для созерцания, и постижения, и любви человеком. ... чтобы был тоже художник, способный оценить. Художник нуждался в другом художнике. Художник не может быть один”.

И Павел Петрович, пьяница и неудачник, завершает свое смелое объяснение таким парадоксом: “Это не мы в него, а он в нас верит. Ты думаешь это легко? Взгляни на нас...”

Интересны и другие прозрения Павла Петровича, которые можно цитировать почти как афоризмы. Например, об искусстве: “То, чему можно научиться, не есть искусство”, это ремесло. Или такое высказывание: “Искусство не только образ, но и способ жизни”.

Однако прозрения этого героя хаотичны, порою противоречивы и никак не складываются в единую картину мира. То он, веря в Христа, не верит в существование дьявола. То, в другой раз, как откровение пересказывает индейскую легенду, что человек создан Богом, но одушевлен дьяволом — отсюда все наше несовершенство, противоречивость. Хотя Павел Петрович много размышляет о Христе, его религиозные размышления, как мы видим, могут совершенно не совпадать с христианским учением. Это как бы свободный, рыскающий полет мысли, подобный тому, как дети временами прозревают скрытую от взрослых суть вещей, по-детски ошибаясь и упрощая их внешнюю сторону — так,

например, философски глубокий и наивный мир в детских рисунках.

Порою, за очередной бутылкой, Павла Петровича заносит на "штурм очередной системы мира" — ради самого штурма и поиска. Ему тесно в трехмерном мире и пространстве, он чувствует себя в нем словно нарисованным на холсте и стремится заглянуть, что за ним. А там — то ли Бог-художник, "мировая мысль", с которой он пытается входить в контакт, то ли безумие гения, способного в своей огромной скорости постижения прорвать изображение на "холсте" нашей жизни?..

Похоже, что и самому Битову тесен мир, в котором мы живем, он пытается даже в языке прорвать временные и пространственные границы ощущений, из-за чего, вероятно, в его прозе обилие логических парадоксов. Например, в апрельском номере "Юности" есть рассказ, называющийся "О — цифра или буква?". Этим вопросом, который можно лишь написать, но нельзя произнести вслух, герой рассказа Гумми, гениальный деревенский "дурачок", каким его считают деревенские жители, озадачивает образованного доктора с "нормальным" мышлением. Гумми, неизвестно откуда взявшийся в деревне, способен переноситься в пространстве и убежден, что люди неправильно видят мир, принимают его внутреннюю сторону за наружную и наоборот. В этом духе Гумми дает и определение религии, к размышлениям о которой Битов часто приводит своих героев:

"Человек не может верить в Бога, потому что Бог не снаружи. Потому что мы внутри. Мы частица веры в Бога..." (Нужно отметить, что редакция журнала "Юность", поддерживая возрождение в советской орфографии здравого смысла, оставляет в тексте Битова слово Бог везде с положенной ему большой Буквы.)

Видимая сторона мира, считает Гумми, — это только отражение вещей, суть же их скрыта во внутренней стороне. Однако, в отличие от принципиальной непознаваемости по Канту "вещей в себе", эта внутренняя сторона мира для Гумми и, вероятно, для Битова познаваема — интуитивным прозрением (в этом с ними согласился бы Бергсон). Однако, вместо того, чтобы стремиться к пониманию главной истины о мире, мы, люди, занимаемся лишь раскладыванием по полочкам своих скудных знаний о его отражениях. Об этом возникает мысль и при чтении рассказа "Битва при Эйзете", главное действующее лицо которого, маленький

технический редактор всемирной энциклопедии, ощущает себя мировым властелином.

Но, наверное, в стремлении к истинной сути нашей жизни, легко и пройти мимо истины, которая совсем рядом. Так, герой рассказа "Вид неба Трои" всю жизнь тратит на поиски женщины, которую увидел однажды на фотографии, не замечая рядом с собой ту, которая действительно предназначена ему. Фотографию женщины из будущего и фотографию неба настоящей Трои из прошлого — подсовывает ему некто очень похожий на кочующего во времени булгаковского Воланда...

Три последних рассказа напечатаны в журнале "Юность" (№ 4, 1987) в необычной форме, которая добавляет еще один штрих к творческому портрету писателя. Битов надевает здесь литературную маску несуществующего англоязычного писателя, представляя свои рассказы как перевод из некоей книги "Преподаватель симметрии". Этим приемом Битов пытается еще больше вырваться из "холста" окружающей его советской жизни, еще ближе подойти к общечеловеческому смыслу бытия.

В рассказе "Фотография Пушкина (1799—2099)" ("Знамя" № 1, 1987) он посылает героя из будущего в прошлое, вообще сокращая настоящее до короткого ряда прокручивающихся назад картин, наблюдаемых путешественником во времени: "... уходили, как в воронку, грибовидные облака, и вылетали обратно бомбы, зарубцовывалась Земля, покрывалась мегаполисами и населялась человеком, ... зарастала травой и лесом, оживала птицей и зверем". Цель этой экспедиции — привезти для науки фотографию Пушкина — при помощи машины времени технически реализуема, но, очевидно, категория времени имеет в себе еще какое-то свойство, которое, в отличие от истории с раздавленной в прошлом бабочкой Рэя Бредбери, защищает неизменность будущего и делает кажущуюся близкой цель все-таки недоступной...

И пространство, и время, и логика обнаруживают у Битова неожиданные свойства (которые, подозревают герои, — может быть, и есть истинные?..) во всех без исключения рассказах этого года. Даже в наиболее реалистичном из них, "Вкус" ("Огонек" № 17, 1987), главный герой Монахов чувствует, что "проявляется каждый день некий закон и действие". Это напоминание "того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты". Порою эти "наме-

ки бытия” проявляются в ощущении героя, будто ”точно в такой вот точке времени и пространства, на том полуслове он уже бы в а л!.. Время делало полный оборот, попадая в ту же точку со случайно налипшим на его обод Монаховым”...

*

Рецензия близится к концу, а рассказано в ней не столько, о чем пишет Битов, сколько — как он пишет. Однако, оправдание тому мы находим в словах самого писателя, который в ”Пушкинском доме”, этой лаборатории своего творчества, признает: тайну автора ”несет в себе стиль, а не сюжет”. ”Кроме задач и фактов, поставленных автором к изложению, получившаяся проза всегда отразит более его намерений, проявившись самостоятельно от автора, иррационально, почти мистично, как некая субстанция...” ”Феномен литературы: хочет или не хочет — он (автор) всегда выдаст свою тайну. С этого момента ... он зрим, он на виду. Потому что стиль есть отпечаток души столь же точный, столь же единичный, как отпечаток пальца...”

Вот и из стиля битовской прозы, пусть даже в данном случае это всего четыре рассказа, нам открывается писатель-философ, с детства сохранивший и развивший ощущение тайны мира, пытающийся проникнуть в нее. Конечно, проза Битова с ее изысканным эстетизмом — не массовое чтение. Но на читателя с родственной душой эта игра мыслью, в чем-то схожая с игрой Набокова словом, производит освежающее, возбуждающее действие. Через удавшиеся писателю проколы ”холста” веет дыхание тайны бытия. И это, думается, главный признак искусства и настоящей литературы, не зависящей от преходящих политических режимов и их перестроек, пусть даже очень необходимых стране. Жизнь не может состоять из одного строительства. Ее строят и перестраивают для того, чтобы жить и мыслить, чтобы хотя бы иногда созерцать ее чудо — как это сделал сам Господь Бог на седьмой день своего творения.

Об этом главном смысле искусства — как прикосновения к тайне — проза Андрея Битова напоминает нам даже в сегодняшние, столь трудные для созерцания и ко многому иному обязывающие, времена.

Михаил Назаров

В редакцию журнала "Грани"*

Посылаю письмо Миши Казачкова из Мордовии — единственное за 13 месяцев (с апреля 1986 по май 1987 г.) пропущенное цензурой. (Конфискованы за это время 20 писем Казачкова матери.)

Мне кажется, оно представляет интерес по следующим причинам.

1. В свое время Наташа Горбаневская опубликовала в "Континенте" подборку Мишиных писем. ("Письма из политзоны" — так, кажется, называлось.) Зная Мишу, я уверен, что это был материал интересный. Но главное — публикация была полезной: интеллектуальный и культурный уровень Казачкова таков, что его письма не могут не создать максимально благоприятного впечатления о контингенте названных зон.

2. Я не знаю, за что в действительности Миша получил свои первые пятнадцать лет. Но сейчас речь идет о новой каре, о нравственных пытках (если не ошибаюсь, понятие "нравственной пытки" носит ныне формально-правовой международный характер). Тотальная конфискация писем к 75-летней матери — если это не нравственная пытка, то что же тогда называют так?

А по этому, единственному дошедшему письму *предельно ясно, за что именно пытаются*. Не за "шпио-

* Материалы этого раздела печатаются с сохранением стиля и формы оригинальных текстов и с минимальными изменениями (Ред.)

наж” 12-летней давности, разумеется; настоящие подонки в лагерях устраиваются, как мы все знаем, весьма неплохо. А просто: как раньше, как всегда — ДАВЯТ ЛИЧНОСТЬ.

Я думаю, это достаточные причины для помещения письма в журнале, и обращаюсь с предложением его опубликовать...

С глубоким уважением (*В. Сендеров*)



Письмо из Мордовии

1-5. 02. 1987

Приветствую тебя, моя радость!

Как обычно, подал письмо на цензуру и уселся писать — скорее замену ему, чем следующее. Но все же сначала буду стараться не повторяться. В неисчерпаемой "Алисе в стране чудес" есть такой диалог: " — Скажите пожалуйста, куда мне отсюда идти? — А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот. — Мне все равно... — сказала Алиса". Вот в такое, рекомендуемое теорией игр, положение я себя поставил решением не отказываться от советского гражданства. Однако, если ты думаешь, что достиг я его рациональным анализом возможностей, то глубоко ошибаешься. Тут скорее сработала интуиция. Я по юношеской наивности долгое время полагал, что у меня ее нет, но вот уже не один год, как обнаружил и научился иной раз полагаться на нее. Заходер утверждает, что когда можно из двух зол выбирать, то это уже неплохо, — а ты все не хочешь верить, что здесь мне не так уж плохо! Как не вспомнить еврейский анекдот 70-х годов "Зато какая дорога..." Впрочем, особой неврастении необходимость выбирать у меня не вызывает потому, что я как-то почти тупо нечувствителен ни к чему, касающемуся лично себя, — ничего не боюсь просто даже тревожным, с рациональной точки зрения, образом. Все мои "страхи" сконцентрированы на тебе, и на фоне этой боли все невзгоды просто остаются ниже порога чувствительности... Не в этом ли секрет "оловянности"? Правда, Сеченов утверждал, что "привыкнуть к страшному и отвратительному не значит выносить его без всяких усилий (это бессмыслица), а значит искусно управлять усилием", но мне все кажется, "что аз человек к тому не таков", — этак писал Досифей-старец в XV в. составитель "Житий Зосимы и Савватия Соловецких" ...

Сходство с Алисой, конечно, опирается на то, что Рос-

сия — страна чудес. Как-то исключительно глупо все же уезжать из нее как раз тогда, когда эти чудеса в ней начинают происходить! И ясное понимание их неизбежного исхода ничего не может поделать против факта: история здесь сейчас движется куда быстрее, чем там! Направление движений разное, и нет сомнения в том, какое из них мне ближе, но ведь жизнь — процесс, а не цель, и именно в процессе ее смысл! Опять же, как быть на все 100% уверенным в том, что направление будет неизменным? Мандельштам писал: "чудовищна, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело". Пары, однако, уже разведены, на мостике уже не раз отдавали команды, а как трудно привести такую махину в движение показал Пленум, во многом более значительный, чем съезд. Из того, что М. С. на нем "заказал" себе на будущее еще и партконференцию (вместо "третьего съезда" подряд), ясно, что он не заблуждается относительно трудностей. Ни одного человека не то что больше не вывели, но и не ввели в Политбюро, которое в полтора раза меньше, чем было обычно! Да и на Пленуме хотя решительными словами, но все уговаривают... После Смуты сначала с народом обращались с опаской, и патриарх Гермоген в послании (после 1606 г.) увещевал так: "Токмо отрините всяку ересь и всяко нечестие... Кто будет блудник, возлюби целомудрие... Или кто разбойник, или тать, или клеветник, или судья неправедной, или посульник, или книги гадательные и волшебные на погибель держит, или ведует, обещаешь Богу таковых дел не творить", — и даже епитимьи никакой! А что было делать, когда некому, все такие были? Нет ведь ни 40 лет, ни изоляции в пустыне, разве вот что претензия на достоинства Моисея пока не опровергнута... Кто может быть уверен, что в Моисеевой голове не сотрут до поры план свернуть на действительно перспективное направление? Броненосцы быстро не повернешь...

Страна всегда была огромна, а теперь, с развитием экономики и самостоятельности людей, она стала и неоспоримо сложной системой. Членкор Моисеев: "Медленные изменения нагрузки, как оказалось, могут привести к качественной перестройке всего характера /.../ процесса. Чем сложнее система, тем чаще можно ожидать /.../ катастрофических значений ее характеристик. Перешагнув через них, мы попадаем в область неведомого: эволюционный процесс может свернуть в совершенно новое русло". И ниже снова: "неожиданно в процессе своего развития параметры системы могут

перешагнуть через некоторые критические значения, и ее организация, т. е. рисунок, ее образ могут измениться катастрофически быстро. А какова будет организация системы после точки катастрофы, мы не можем предугадать в принципе". Конечно, это лишь метафора, аналогия, но все же похоже, что уже можно сказать "громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть? ..." Сегодня людям настойчиво — и справедливо! — внушают, что определить это предстоит им самим, больше никому. Как тут уехать? Только не добровольно. Ведь это было бы вроде слабости, признания если не поражения, то чего-то в этом роде. А я, право, полон сил и энергии — зачем мне отдыхать? Вот выслать насильно, конечно, могут. Однако, в этом случае это будет вовсе не необратимое дело: мало ли решений вчерашних сейчас пересматривают? "То ли еще будет, ой-ой-ой" ... А когда *сам* откажешься — это не перед *властью*, это перед *страной и народом*. Совсем дело другое... Конечно, в Евангелии сказано "камень, отвергнутый строителями..."*, но едва ли есть серьезный шанс стать "краеугольным камнем" в Америке, начав в 43 года; тут ушедшие годы необратимы. Конечно, устроен бы там я был и богаче, и спокойнее, и надежнее. Все, что касается ПОЛУЧИТЬ, там несравненно лучше. Но так уж вышло, что естественная эволюция каждого полноценного человека от материального к духовному у меня в этих условиях ускорила и, как приходится признать, *дать* мне уже важнее, чем *взять*. Конечно, и в США есть кому *дать*, но все же естественно предпочесть тех, кто больше нуждается. Одним словом, при *равновесии* в целом, все же чаша весов перетянула. И не столько за счет разноресия "духовности", сколько под весомой гирей твоего права спокойно дожить жизнь по своему вкусу. Правда, "спокойно" м. б. сильно сказано, но тут уж пусть выбор будет твой, а не мой за тебя. Все это м. б., казалось бы, сообразить и к дате свидания, но вот нет, не получилось. И я не знаю, что тут сыграло роль большую: м. б., и не демонстрация упорства в перестройке и ясное понимание ее связи с демократизацией со стороны М. С., а просто несколько месяцев саморефлексии в одиночестве. "Держать была — стала смелость /Гордость была — стала честь./ Кто-то сказал: это зрелость /Может быть, так и есть. "Это не мой "высокий штиль", это Лариса Васильева. А вот еще она:

* "Камень, который отвергли строители, сделался главою угла" в Ев. от Матфея 21:41. Мр. 12:10 (Ред.).

"Молодость — это не годы / Толпящиеся впереди, / А дерзкое чувство свободы / в груди". Так зрелость или, напротив, молодость? Черт его знает... Вот одно знаю точно: никакой личной заслуги во всем, что со мной — и, главное, *как!* — происходит, нет. Дело в генах, в воспитании, в характере одним словом. Вот А. Герман в большом интервью в "ВОПЛЯх"* говорит: "Я уверен, всякий, даже самый настоящий художник в какой-то момент хотел бы каким-то образом приспособиться к тому, что от него требуют. Вы думаете, Мандельштам не хотел приспособиться? Хотел. Почитайте его стихи. Но мешал талант. Мой отец не хотел? Я не хотел? Да все хотят. Но стыдно". Это верно и в личном, и в художественном плане, — они ведь связаны, не зря говорят о жизни, как произведении искусства. Попробуй себе представить, что у Пушкина старуха потребовала бы у золотой рыбки сразу же не корыто новое, а богатый улов из ее товаров? На уху?! Более же немедленная нужда — голод, чем эта ее потребность в новом корыте... Но предательство просто не ложится в сюжет, разрушает его, делает все вокруг уродливым и бессмысленно-мерзким. Столь же разрушительно предательство и в жизни — и не обязательно предательство других, предательство самого себя еще хуже.

Долгие десятилетия господства естественных нужд навязали некоторым представление о мире, как о поле игры чистых вероятностей. Однако легко заметить, что это неверно: события имеют тенденцию складываться в некие *фабулы* не только в литературе, но и в жизни. Кажется, Гете об этом говорил, что "все преходящее есть притча". Некоторые случайности явно закономерны — Гете их называл "демоническими". А Герцену очень нравились слова аббата Галиани: "все в мире подтасовано", т. е. случайности определяются игрой в меченые кости.

Конечно, очень важно бы понять, *почему* в мире царят эти неслучайные случайности. Что это — доказательство промысла Божия или объяснение неизбежности появления идеи Бога? И есть ли эти гетевские притчи объективно, или они — следствие особого устройства человеческого сознания, кривизны наших "зеркал"? Важно, однако, что в последнем случае они одинаковы либо вообще для всего рода, либо уж заведомо в пределах одной культурной традиции — иначе не возникла бы общепонятная литература, которая как раз эксплуатирует эти "притчи" в качестве сюжетов! А на-

* "Вопросы литературы" (Ред.).

чало ее — в мифологии. Правда, марксистская эстетика (Лифшиц) настаивает на том, что миф есть фабула, но фантастическая, а бывают еще и иные, т. е. миф не всеобщ. Но тут уже сказано важное новое слово у Лотмана. Он научился разделять миф как описание устойчиво повторяющихся в последовательности событий (календарная обрядность) и хроники, где обычное как раз не отражается, а фиксируются лишь исключительные, из ряда вон выходящие события. Тогда приходится искать "фабулы" уже только в этих последних? Возможно, есть иерархия "мифов" разного уровня общности? "Метамифы"? Ладно, не хочу совсем заморочить тебе голову тем, чем пока лишь озадачиваю свою, не зная ответов. Я ведь влез во все эти рассуждения с тем, чтобы пояснить собственную ситуацию. Мне никак не вписать себя в фабулу "дезертирства", с одной стороны, и не отделаться от подозрения, что оставаясь, я следую фабуле чисто национальной, русской "жертвенности за други своя" или черт знает какой еще. От первой отвращается чувство, от второй — разум! Вот почему я и начал с Алисы... Этакая диалектика горячей батареи под окном, из которого дует: подойдешь руки погреть — голова мерзнет. Странно устроена судьба: по крайней мере сейчас все выглядит так, что быть мне русским или американцем, решит некий синклит чиновников в известной конторе, а не я... И ведь не просто по паспорту, а по сути: в которой чаще весов обстоятельства позволят пойти в рост побегам, тому ведь и быть! А чаши эти почти в равновесии, оттого я и буриданствую, — а еще над Н. потешался...

Тут уже немало цитат, но я все же приведу еще одну и большею — из повести Амлинского в № 10 "Юности". Приведу в иллюстрацию удивительного ослабления цензуры, и, что еще важнее, самоцензуры, — тоже ведь характеристика "обстоятельств", влияющих на равновесие моих весов... Он пишет о немецком летчике "Люфтваффе", который их с бабушкой бомбил по дороге в эвакуацию, каков он теперь. "Думаю, что в нем нет и тени раскаяния. Почему? А все потому, что в нем не было и нет чувства персональной ответственности. В этом — секрет тоталитарной психологии. Психология личности здесь не индивидуализирована... Винтик не может судить машину, он сам ее частица, он и работает на нее в целом, как ему и положено. Задумается он потом, когда машину сомнут, изломают. Тут он перестанет быть винтиком и станет человеком". Вот последнее, ко-

нечно, неверно: м. б., дети его и станут, но уж не он. Но вообще вдумайся в этот отрывок: на Коля за сближение их прошлого с этим порядком — смертельная обида, а тут — пожалуйста, повесть всю хвалят! Конечно, вся повесть эта очень неглубока по мысли, и эта цитата — не исключение. Я бы скорее пытался понять тоталитаризм как явление закономерное, — факты-то вещь упрямая! — опирающиеся на вторую важнейшую сторону, "антитезис" диалектики человеческой природы ("тезис" — индивидуализм). Всякое мыслящее устройство должно принимать решения, делать выбор за выбором — даже искусственный разум. Для этого ему нужна информация. Ее всегда, подчеркиваю это — *всегда!* — не хватает. Если ее достаточно, то нет колебаний, нет и мысли. Таков огурец на грядке, устройство с фотоэлементом, включающее лампочку, когда темнеет, и т. п. Нехватка информации для решения вызывает *невроз*, беспокойство, чувство неуверенности. Но оно же заставляет думать, искать, развиваться. Поэтому даже машина с интеллектуальным потенциалом будет искать покоя в обращении к ч.-л. всезнающему или хотя бы авторитетному, и лишь вынужденно думать сама! Поэтому, увы, идея Бога — неизбежна. А чтобы он вступил с нами в диалог (зачем это ему, Всезнающему?), приходится считать, что он непременно *благ*. Но можно обратиться не к культу, а к культуре: запасу знаний всех других. Это путь тех, кто "думает, ищет, развивается". Кстати, и религия, идея Бога — часть культуры, а вовсе не нечто ей альтернативное только, тут все не так просто! Так что я-то НЕ атеист. А вот другие, выбирающие устремление к покою и душевному комфорту, обращаются к *авторитету*. Режим авторитарный — подвид тоталитарного, но ведь авторитет может быть не только личный. Самый мощный и неистребимый, это авторитет большинства: "как все". На самом-то деле, обе тенденции всегда присутствуют в любом человеке и в любом обществе одновременно. Все дело в пропорциях — как всегда... Пропорции же регулируют традиции, "архетипы культуры", и, на их базе, политическое и социальное устройство, которое всегда вторично. Если они поощряют независимость и индивидуализм, дают просто для развития тех, всегда немногих, личностей, которые *ищут*, то возникает та или иная форма плюрализма. Например, эллинская демократия отнюдь не поощряла индивидуализма так уж безусловно; во всяком случае в *деяниях*, ежели не увлечь массу, то раз-

вернуться личности было никак. Зато в сфере мысли она оказалась нестеснительной. А вот Рим, с его традицией независимости и полновластия — *патер фамиліас*, во всяком случае в своей семье и в своем хозяйстве, воспитывал и *десятелей-индивидов*. Ведь индивидуализм — антиобщественная сила вовсе не при всякой организации общества! Т. н. "средиземноморская традиция" — основа современной западной цивилизации, она так или иначе давала простор личности ищущей, плюрализму.

Восток — дело иное. Тут для личности оставался один путь: в элиту, а в монгольско-русском варианте — только в цари, ибо *все* остальные были холопы... Отсюда непрерывность самозванства! Петр I на троне — личность, но сколько личностей ни на трон, ни куда-либо еще, кроме плахи, не попали? Несопоставимо большее число и вовсе не дали хода своим поползновениям, приняли жизнь "как все". Оттого и христианство всерьез не привилось: *зачем* мысленно искать совета ("информации") у Бога, если есть "как все"? Оттого ислам так победно шествует и сегодня по III-му миру, что там все жестко и определено, — все как один, и думать не о чем... Той же природы, конечно, и нацизм в Германии. Для личности тут есть один путь — в *лидеры*, но этих вакансий всегда мало, поэтому и интеллектуальности в таком обществе мало. Не в "соцсправедливости" дело, а в том, чтобы информация вырабатывалась обществом наиболее эффективно, т. е. быстро и обильно — ведь и все общество тоже интеллектуальная система, которой приходится делать *выбор* за выбором, для чего ему тоже откуда-то нужно брать информацию! А она возникает лишь в процессе *диалога* между *разными*, хотя и не чуждыми его подсистемами — личностями, соц. группами, т. е. лучше та система, при которой эта информация эффективнее вырабатывается, — "социализмы" и "капитализмы" — дело вторичное. Лучшая в том смысле, что она быстрее развивается, живучее, в конечном счете — сильнее. Сегодня же ошибочное решение может для социума вообще стать фатальным. И для всех людей на Земле — тоже. Поэтому подлинная борьба за выживание человечества — это не просто активность в пользу разоружения, но за распространение наиболее эффективных систем принятия решений. В СССР сегодня она получила название борьбы за социальную демократию — не в терминах дело — и то, что М. С. Горбачев понимает ее необходимость, делает меня его "попутчиком",

причем активным. Погубить будущее можно не только войной и даже не сверх-Чернобылем, но просто *постепенными* процессами: отравлением природы, ростом населения в Третьем мире, и т. п. *глобальными* проблемами. Для их решения та или иная форма *глобального правления* очевидно неизбежно необходима. Поэтому, как говорил (в рамках и масштабах континента) больше 100 лет назад Линкольн, "разделенный дом не может существовать", — как нежизнеспособный на перспективу апартеид в Юж. Африке. При этом я в конвергенцию *не верю*. Потому-то и остаюсь пессимистом... Мешает конвергенции не внешний слой политических устройств, столь разных на Западе и Востоке, но нечто куда более фундаментальное. Сознание любого уровня (личности, общественное сознание группы, нации, культурной традиции) обрабатывает информацию двумя фундаментально различными методами, — их обычно ассоциируют с левым и правым полушариями мозга. Один — "западный", т. е. типичный для его цивилизации: через дискретный ряд, через *анализ*, т. е. разложение явлений и понятий, через *логику*. Восток преимущественно оперирует *синтезом*, неразложимыми образами — как нельзя расчленишь, например, знакомое лицо на совокупность узнаваемых элементов. Трудно во всяком случае. При культурном обмене информация довольно четко разделяется и циркулирует по двум разным каналам. По одному — то, что "дискретно", что воспринимается по принципу сходства и различия. По другому — передающее неделимые смыслы. Чем сильнее связаны два канала, тем больше пользы, тем больше вырабатывается новой, нетривиальной информации. Так происходит в голове полноценно развитого человека: ведь у него оба полушария с их разными "языками" объединены неким общим "метаязыком" единой личности! Совсем не обязательно это так в обществе. Вспомним пресловутый спор "физиков" и "лириков" — ни взаимопонимания, ни толка от него не возникло. Очевидно, в общественном устройстве должен присутствовать некий тонко настроенный механизм, объединяющий людей не столько перед лицом, скажем, внешней опасности, войны, но и повседневно. Трудно охарактеризовать достаточные требования к нему, да я об этом еще почти и не думал, но одно необходимое уже знаю. Это т. н. свободная коммуникация. В самом деле, чего не знаем — то чужое, чуждое, а для большинства и враждебное. Вот молчали о наркоманах, и вполне естествен-

но, первая реакция массы — судить, сажать, чуть ли не убивать их. Что "больные" — до сознания не доходит. Но если о них будут толково, объективно, да и обильно сообщать в газетах и по ТВ, то вскоре исконная российская жалостливость проснется, и люди, научившиеся хотя бы отчасти отождествлять себя мысленно с наркоманом, станут снисходительнее. Вот к пьяным же есть отношение "с кем не бывает", хотя официально оно, мягко говоря, не поощрялось никогда.

В США этот механизм есть, но он гораздо грубее, чем, скажем, во Франции (об Англии я парадоксальным образом знаю совсем мало и плохо ее "чувствую"). И уж совсем несопоставим он с маленькими странами, где все — скажем, армяне — немножко родственниками себя чувствуют, особенно вне Армении. А вот где сего механизма нет начисто, так это в общении между Востоком и Западом. В III-м мире Запад его строит на "метаязыке" — масс-культуры: хоть сигареты одни курят в Детройте и Найроби, а то ведь что еще их бы объединило. Но СССР и его союзники не пускают западную масс-культуру, здесь возникает своя (тот ряд имен, что ты в одном из писем привела: Евтушенко, Пикуль, Пугачева, Глазунов и т. д.), и это делает барьер почти непродоходимым! Отсюда пытаются наводить мосты, но через *высокую* культуру, а это, по моему глубокому убеждению, фатальная ошибка! Те, кто нуждается в русской литературе на Западе, прежде всего потянутся к Достоевскому, к Толстому — они там доступны и так, без СССР. А сегодняшняя литература, кажется, вовсе не нужна никому — там-то во всяком случае. Как бы там ни было, но *рок* до молодежи здесь доходит и его сейчас пришлось легализовать, а Айтматова в Америке читать не будут. Но при такой разной политике двух сторон мост остается разведенным, и *ничто* в результате не объединяет два региона. А ведь они различаются, как два полушария мозга... В правом, образном, тоже есть элементы "дискретности", речь ведь идет о преимущественной специализации, как и в культуре Запада и Востока. Ну, а об обосновании "европоцентризма" я тебе писал давно и это, кажется, доходило. Вот так абстрактные умствования выводят на проблему того, суждено ли Петьке дожить до моих лет... При этом надо сказать, что в самом глубоком принципе ситуация не совсем безвыходна: вот ведь неоспоримо "восточная" Япония нашла "метаязык", объединивший ее с Западом! Он, конечно же,

начал формироваться "снизу", через масс-культуру. Но, увы, та "ось" анализа, которую я тут разрабатывал, не единственная. Я бы сказал, что все эти соображения обнажились бы как актуально важные лишь после определенных политических перемен — в духе известной рекомендации Чаадаева о пути России в семью европейских народов. Однако у меня есть и вполне оригинальная, насколько я знаю, "терапевтическая" идея: нечто вроде общественного психоанализа. Обычный психоаналитик укладывает пациента на "расслабляющую" кушетку и спрашивает о совершенно невинных вещах, но прежде всего — о детстве. Из этих бесед он делает заключения о том, что в его подсознании является причиной нежелательного, мешающего пациенту в жизни "сознательного" поведения. Затем он рассказывает ему о своих заключениях, и само осознание бессознательных причин оказывается эффективным лечением. У Леви-Стросса я вычитал, что подлинная структура представлений, определяющих всю жизнь племени (конкретно — бразильских индейцев, но результат это общий для любого социума), никогда не осознается. Та "идеология", которую проговаривают вслух, обязательно ей противоречит. И, если внушить значительной части племени подлинные представления об их собственной структуре, т. е. сделать "идеологией" их, то эта подлинная структура непременно разрушится! Ну, а понять ее, конечно, способен только чужак, тот, кто сам не обладает подсознанием, структурированным, как у всего племени. Не любой чужак, конечно, а профессионал-антрополог — как нужен психоаналитик для выявления индивидуального подсознания, его личных структур. Именно отсюда поражающие прозрения иных путешественников, скажем, де Кюстина. Кстати, в "ВОПЛях" (№ 12) за 1986 Лихачеву задают немало очень колких вопросов, в частности, не следует ли издать книгу Кюстина. Он уходит от ответа, этот старый трус: "Кюстин не страшен. Он типичен как иностранец и как человек своего времени. Но вместе с тем его произведение любопытно". — Все! Между тем, Кюстин не "страшен", а необходим. И не сам по себе, а в рамках целой программы. Почему я вижу очень многое в России и ее культуре, чего не видят другие вокруг? В силу смещенной в страну англо-саксонской культуры точки зрения. Смещенной очень рано и потому затронувшей и подсознание. Я немножко чужак, но, увы, не "профессионал-антрополог". Но вот группа таких исследователей, из немно-

гих "чужаков" и профессионалов разных оттенков, могла бы, просто анализируя, скажем, газетную лексику, материалы опросов и т. п. сделать важные заключения поглубже Кюстина. Методика в основном уже разработана, существует, ее нужно лишь приспособить к новым целям. И если потом результаты широко внушать населению, то это повлияет на поведение, во всяком случае молодых. Мало эффективно? Но зато наиболее эффективное из всех возможных средство. Утопия в плане организационном? Очевидно. Едва ли АН СССР этим займется. Но мысль ведь такими возражениями не останавливается, а пишу я не в АН, а маме. Здесь я не боюсь и "ляп" допустить... Все же мне хотелось поделиться с тобой своим собственным изумлением перед проявлением интуиции еще и в этой форме: лишь много спустя я обнаруживаю, что все то, что было мне сначала просто "интересно", оказывается полезным и даже необходимым для ответа на несколько основных вопросов, постоянно меня донимающих. Ведь если психоаналитик особенно напирает на детство пациента, когда он формировался как личность, то разве для народа его ранняя история не такова же? Не знаю, чем интересуется Лихачев в Древней Руси, но я, оказывается, ответом на вот эти самые вопросы! Но это, так сказать, анализ "по вертикали" времен. Чисто "горизонтальный" анализ наиболее соблазнителен: сравнивать "у них" и "у нас" все горазды, хотя без "перекоса" это почти бесполезно. Вот чтение "Культуры Д. Рима" дало мне материал для такого "перекоса" — и время, и народы другие. Сейчас бы мне очень нужны были две книги: Марк Аврелий — для души, и "Метаморфозы" Овидия — для анализа. Первый мой ровесник, и даже по рецензии в "Н. Мире" я понял, что книга его лично для меня актуальна. А о "Метаморфозах" я читал в "Культуре Д. Рима" у Кнабе — одна из лучших глав уже знакомого мне по книжке "Тацит" автора. Что бы Марк о нем ни говорил, он — большая умница, этот Кнабе. Так вот, как я понял, Овидий делает важное наблюдение за ходом прогресса. После битвы гигантов хаос, конечно, побежден, но не убит. Он может рецидивно возрождаться, причем его стихийные, природные проявления — не самое главное. В образе Пифона, как я понял, проявляется Хаос, как комбинация культурных элементов, нелепо и опасно составленных. Ты помнишь, конечно, что мы с Бл. Августином считаем злом: то, что не у места и не у времени, а то бы вполне могло считаться

добром. Потому-то Пифон — воплощение Зла, что он весь "неправильно" составлен из "правильных" культурных элементов. Я бы назвал Пифона прообразом христианского Антихриста. Теперь обратись к странам Третьего мира. Они получают культурные элементы по импорту, комбинируют их с собственными, все это вне системы, и потому там неизбежен хаос: он налицо сегодня и неизбежен надолго впредь. Пока они разобщены, это горькая проблема самих этих народов. Но, если среди них находится мощный центр, способный объединить их в империю с единой волей, то это уже Пифон... Представь себе, что подобное случилось бы в бурлящей Лат. Америке — вот и была бы "империя зла". Едва ли Рейган и даже те, кто пишет ему речи, так понимают этот термин, так что связывать это с ним не стоит. Но вот мою давнюю мысль о том, что Петр I первым вступил на путь "догонки Запада", здесь вспомнить уместно. Нет и не может быть никакой "империи Зла" как этакое царства Сатаны, ибо Зло не онтологично, лишено самостоятельного сущностного начала. Но возможен Пифон — сочетание культурных достижений, не имеющее органического единства, некая химера в буквальном смысле этого слова. Антихрист — не зря м. б. так величали Петра старообрядцы... Все это прекрасно, и даже просят сюда образы Сфинкса и других прочих кентавров, которые никогда не воплощали Добра, да только мне нужно проверять это, знаний не хватает! Ляп тут-то безопасен, а скажи кому чужому, так ведь потом стыда не оберешься. Инерция отношения к т. н. "дилетантизму" от прошлой фазы развития еще очень сильна... Между тем, я не только в таких увлечениях, как "Хай-Фай", яхта и теннис опережал других. Сейчас японцы настаивают на широчайшем, в т. ч. гуманитарном образовании всех, кого берут на работу в наиболее престижные не университеты, а фирмы! Эта широта захвата у меня изначально была, и она ведь сочетается со способностью — а когда реально требует дело, то и охотой! — копать весьма глубоко в конкретных вопросах. Уж я-то не подобен флюсу, который, как известно, болезнь. Причем токсичные выделения этой припухлости способны отравить даже весьма образованных людей. Того же Лихачева, который теперь вездесущ, чуть ли не как Господь Бог. Его интервью в "ВОПлях" почти скандально. Интервьюер откровенно скептичен и колло, Лихачев не без труда блюдет мину, но внутреннее раздражение прорывается в очень разоблачительных формули-

ровках. Все то, что общепринято считать дурным в истории русской культуры, по Лихачеву на 90% — ее уникальные достоинства, коими ей дано осчастливить мир, а остальные 10% — просто выдумка или недоразумение. Скажем, фильм "Страсти по Андрею" искажает образ жизни Руси, там почти все было благостно и благолепно. Это "почти" почти проглатывается им... Отвлекусь тут на произведшее на меня серьезное впечатление, — м. б. даже и подтолкнувшее к смене курса! — освещение смерти Тарковского в печати. Публиковались и недоуменные письма читателей, для которых любой уехавший — изменник. Ответы на них вдохновляют: пока (или уже? вот ведь в чем главный вопрос!) пресса берется цивилизовывать эту массу с ее пещерными представлениями. Только естественно, что начинают это делать с именитых... Так вот, о лихачевском мессианском шаманстве. Ему бы Чернышевского (если уж не Чаадаева) вспомнить:

"Кроме общинного землевладения невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашей свежей помощью. Нечего нам и хлопотать об этом, никаких оживителей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать, и своими силами умеет делать все, что ей угодно, и своих сил довольно ей на все, что ей нужно сделать" (Полн. собр. соч. т. 8 стр. 449—450, М., 1950).

Я не раз уже писал тебе о том же феномене у негров и лат.—американцев: конечно, обидно быть вечно в хвосте, но факты — вещь упрямая. И в любом народе лишь единицы готовы их принимать: Л. Сеа, Чинча Ечебе, Чернышевский, Чаадаев, — но где же хоть один сегодня в России? Э, гласности еще предстоит большой, долгий путь, прежде чем мы узнаем их имена... Пока же смельчака ждет судьба — в лучшем случае — Чаадаева. Кстати, он ведь наверняка бы уехал после скандала с публикацией в "Телескопе", ведь человек то был слабый, трусоватый, — просто не мог, арест домашний! А уж потом почти в охранители эволюционировал... Страшный прецедент, жутковатое напоминание мне, оглядывающемуся на пройденный перекресток...

О том, сколько трудно мне принимать — а теперь и держаться — такого решения, ясно хотя бы из того, что вот только что и еще один акт о конфискации, еще 20-го моего тебе письма подряд, принесли.

Итак, постараюсь закончить письмо сегодня же. Корот-

кий отчет: я получил от тебя все, кроме № 12 (его конфисковали), да в № 14 вычеркнули 6 последних строк. От иных лиц — только две телеграммы к 7. XII от Сони и Н., причем конфискации не было, просто "не поступали". Большое спасибо за открытки, некоторые просто восхитительны. Я, например, не убираю с глаз ни Анджелико, ни М. Фридрихса, хотя, если первый как бы архаичен, то второй, боюсь, даже повредил всей немецкой школе тем, что забежал вперед. Я худо знаю немцев, но надеюсь, что они все же несмотря на это довели свое (неразб.) дело до конца. Твердость в следовании курсу — прекрасное качество, и немцы им, кажется, вполне обладают. Но вот Франц Марк красив, а все же "обстановочен" при всем его "модерне". Правда, он подлинно монументален — даже в формате открытки впечатляет! Спасибо.

Бандероль тебе вернули совершенно неправильно. Мне дали согласие на отправку телеграммы о ней, подаю ее одновременно, текст такой: "С бандеролью недоразумение, пошли снова. Но ни во что не вмешивайся. Береги себя, надейся. Абсолютно здоров. Миша". А вот текст той, что тебе дошла:

"От тебя получаю все, включая вложения. Больше месяца назад тебе отослан официальный ответ администрации с моей запиской. Телеграфируй их получение.

Абсолютно здоров. Береги себя. Миша".

Описывать тебе всякие юридические вопросы не буду — ситуация резко изменилась, но у меня есть убедительные свидетельства, что вопрос серьезно рассматривается, возможно как раз сейчас. Но Р. З., согласно почтового уведомления, еще 20. X. 86 получил письмо о чистопольском погроме моих вещей. Кстати, я от них вернул себе 140 рублей уже сам! Деньги у меня есть, да и все остальное — тоже. Ни о чем не тревожусь; если ты получишь это мое письмо, то, скорее всего, я буду уже снова благополучен вполне. Право же, я не болею, здоров и с каждым днем все дальше от язвы. И погода теплая, солнечная, сушая весна. Все хорошо.

Большое спасибо Лене за ее письмо — когда уже ее искусство кончается? Она написала почти все верно, но, — это естественно, — несколько упростила мое отношение к вере. В некоем смысле я могу ей вернуть довод о "поверхностности" впечатления, роста распространенности подлинной веры в цивилизованном мире... Поясню, что я понимаю под секу-

ляризоцией сознания. Если можно говорить о прогрессе, то только в одном смысле: индивидуализация сознаний отдельных людей. Если в крестьянской общине у ее членов даже речи своей не было, то есть они говорили поговорками, присловьями, — стандартно, — то сейчас это все иначе; по крайней мере у все большего числа лиц, не слишком привязанных к ТВ... В этом, кстати, и горечь: отчуждение есть следствие все более разных индивидуальных "языков", исчезновения взаимопонимания и единодушия. Что есть Церковь? Единодушные, тождество не всех, конечно, но системообразующих параметров души у многих личностей. Протестантизм уже свободен от этого, оттого он и современен... Под секуляризацией я не имею в виду отказ от веры, но ее индивидуализацию, отказ от церкви, вообще от униформизма веры. И, как следствие, рост сомнений. Ведь они были еще и при жизни Христа: "... помоги моему неверию!" Феномен возврата к вере есть в мире, он ясно выражен. Но это не устойчивое движение, оно, как говорят в физике, "некогерентно", — кто-то найдет себе в этом ответ навсегда, а для кого-то это лишь метание... Иначе сегодня быть не может, все врозь и чем дальше, тем больше. Так что любой "золотой век" всегда позади. Мне не трудно отступить от приписываемой Вергилию максимы: "Все может надоесть, кроме понимания". — Понимать механизм веры саму ее не заменяет, но само понимание стоит в центре всего и никогда не подводит... Впрочем, в таких вопросах очень трудно понять другого по написанному: глаз не видно. Опять же "мысль изреченная..." Что поделаться, ведь речь идет скорее о бессловесных чувствах, а как возможно рефлексировать вне рацию?

Другая важная тема в ее письме выражена стихотворением "Лен", которое я оценил. Был бы я сам версификатором, давно бы написал стих на базе следующей развернутой метафоры. Если бы болванка под молотом кузнеца умела уклоняться от ударов его, то навсегда осталась бы болванкой. Правда, есть еще и вопрос качества металла...

Я бы с удовольствием написал тут в связи с письмом Лены гораздо больше, — в только что конфискованном письме и было больше и лучше! — но, во-первых, спешу, во-вторых, все равно не пропустят (скорее всего); наконец, теперь, когда я решил остаться ее соотечественником, у нас с Леной есть реальный шанс однажды поговорить непосредственно. Я буду надеяться на это.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

М о р е в (Пономарев) Александр (1934—1979). Ленинградский поэт. Был известен в самиздате с начала 50-х годов. Даже в период "оттепели" не смог опубликовать ничего. Когда в 70-е интерес к стихам стал падать, Морева, как и многих других, с кем связывались большие надежды, забыли; рукописи хранятся у друзей, перепечатки изредка можно встретить в самиздате. В 1979 году Морев покончил с собой, прыгнув в строительную шахту метрополитена. Вряд ли он вообще печатался в СССР. Предлагаемая в этом номере "Граней" подборка взята из ленинградской поэтической антологии "Острова", составленной в 1981 году. Антология представляет ленинградскую неподцензурную поэзию за тридцатилетие "бронзового века". Этот сборник до сих пор остается в машинописном варианте.

С и н к е в и ч Валентина, род. в 1926 году в Киеве. Во время Второй мировой войны попала в Европу. С 1950 года живет в США, в настоящее время в Филадельфии. По профессии — библиотечный работник. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе "Огни", "Наступление дня", "Цветение трав". Редактирует поэтический альманах "Встречи" (начавшийся когда-то как "Перекрестки"). Много выступает по всей Америке с чтением стихов перед русской и англоязычной аудиторией. Автор многочисленных эссе о литературе и рецензий на русские и иностранные книги для русских и американских изданий (по-английски пишет для газеты "Филадельфия Инквайр").

Т е у ш В. Л., московский литературовед и антропософ. Его литературоведческие эссе появились в самиздате в начале 60-х годов. В кругах московской интеллигенции его имя стало известно очень широко осенью 1965 года в связи с изъятием органами безопасности из его квартиры остатков хранившегося там архива А. И. Солженицына. К счастью, основную часть архива Солженицын успел переправить в более надежное место. Но среди изъятого были "Пир победителей", "Республика труда", но главное, уже готовая к печати рукопись "Ракового корпуса". Вины Теуша в аресте архива, по сути дела, не было, если не считать за вину нашу общую беду — неумение конспирировать. К тому же Теуш уже тогда был пенсионером. А. И. Солженицын характери-

зует его как вполне достойного и порядочного человека (см. "Бодался теленок с дубом"). Кроме огромной работы "Книга о Чехове", главы из которой представлены в этом номере "Граней", известна еще одна большая самиздатская работа Теуша "Об "Одном дне Ивана Денисовича".

Ш а п и р о Рафаэль. Род. в 1926 году в Москве. С 1939 года постоянно жил в Баку. Окончил юридический факультет Азербайджанского университета и нефте-механический факультет Индустриального института. В 1950 году был арестован и осужден на 25 лет по ст. 58—1, 58—10 и 58—11. В 1954 году был освобожден. Тогда же начал писать и печататься. Автор ряда детских книг. Был членом Союза писателей и Союза журналистов СССР. В 1980 году эмигрировал в Израиль. В настоящее время живет в Иерусалиме. Печатается преимущественно в журнале "Страна и мир".

Ш е н ф е л ь д Игнатий, род. в 1915 г. во Львове. Там же окончил университет по филологическому факультету. Печататься начал в 1935 г. как поэт и переводчик. В 1941 г. оказался в Ташкенте, а в январе 1943 г. был арестован по фантастическому доносу и решением ОСО был приговорен к 10 годам заключения. В ходе этого "хождения по мукам" — по тюрьмам и лагерям — он встретил и сблизился со многими репрессированными писателями и людьми необычайных и трагических судеб. После отбытия еще трехлетней ссылки в 1956 г. возвратился в Польшу, где в Варшаве занялся интенсивной издательской, переводческой и другой литературной деятельностью. В 1969 году эмигрировал. С 1971 года живет в Германии и занимается литературоведением.

Ю г о в Александр Михайлович (род. в Москве в 1931 г.). Окончил Одесский политехнический институт в 1954 г. Работал на инженерных, административных и научно-исследовательских должностях ряда заводов и НИИ страны. Эмигрировал из СССР в конце 1971 г. С января 1972 г. сотрудничает в журнале "Посев", где за 12 лет опубликовал несколько десятков статей, преимущественно на социально-экономические темы. С 1974 до 1982 г. работал ответственным секретарем журнала "Посев", в настоящее время член его редколлегии. В издательстве "Посев" готовится сборник его публицистических статей.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Июль — Август — Сентябрь 1917 года

Успех июньского наступления армии оказался временным. Уже в первых числах июля происходит крупное поражение на фронте. В тылу это стало одной из главных причин нового правительственного кризиса, приведшего к отставке кн. Львова и министров-кадетов.

Слабость и неустойчивость власти в стране быстро сметала все преграды на пути революционной волны, заливавшей Россию. Революция начала переходить в бунт. Страну затрясло сверху донизу, на фронтах и в тылу.

Слухи об укреплении дисциплины в армии вызвали тревогу у солдат Петербургского гарнизона, опасавшихся, что их могут отправить на фронт. Лозунги о свержении Временного Правительства нашли благодатную почву прежде всего в первом пулеметном полку, находившемся под влиянием большевиков и анархо-коммунистов.

3—4 (16—17) июля прошли организованные ли, "поддержанные" ли большевиками вооруженные демонстрации против Временного Правительства под лозунгом "Вся власть Советам", что привело к следующему правительственному кризису.

Это выступление большевиков было подавлено. Июльская, как ее назвал Ленин, "репетиция" окончилась неудачей прежде всего потому, что Петроградский Совет, где большинство все еще представляли эсеры и меньшевики, поддержал Временное Правительство.

"Они теперь нас перестреляют, — говорил Ленин, — самый подходящий момент для них". И у него были веские основания для подобных опасений. Важным аргументом, убедившим верные Временному Правительству и Совету войска выступить против демонстрантов, были документы, доказывавшие, что Ленин и большевики — немецкие шпионы. Их обвиняли в получении немецких денег для разложения русской армии и заключения сепаратного мира. Ленин, боясь, что это может оказаться "всерьез и надолго", скрылся в Финляндии.

Вопрос о "немецких деньгах" и их значении в захвате большевиками власти и до сих пор не потерял своей болез-

ненной остроты. Действительно, как партия, насчитывавшая в апреле 1917 года 77 тысяч членов (всего лишь), имевшая с 1 декабря 1916 по 1 февраля 1917 наличных поступлений в партийную кассу 1117 рублей 50 копеек (всего лишь), уже в апреле издавала 17 ежедневных газет тиражом в 320 тысяч (общий недельный тираж был почти 1,5 млн.), не считая несметного числа агитационных листовок и брошюр?

Все это так. Но если отвлечься от морально-этического аспекта вопроса об иностранном и вражеском финансировании, тем более, что для Ленина и его партии такого аспекта и не было, то гораздо более важным и до сих пор неотвеченным остается вопрос: в деньгах ли была причина успеха большевистской агитации и пропаганды? Правительство России располагало, надо думать, средствами не меньшими, чем правительство тоже воюющей Германии...

8 (21) июля, то есть за одну только неделю Временное правительство претерпело третий кризис. Было образовано новое, теперь уже "коалиционное" правительство под председательством Керенского.

Проходивший с 26 июля по 2 августа (8—16 августа) Шестой съезд большевистской партии, на котором нелегально присутствовал Ленин, открыто провозгласил курс на вооруженное восстание.

Другим важным событием августа было созданное Керенским Московское Государственное Всероссийское Сопровождение 12—14 августа (25—27 августа) с целью обсуждения состояния дел в стране. Сопровождение, на котором присутствовало более 2000 делегатов от различных общественных союзов и организаций, партий, Советов и армии, еще более обнажило слабость власти.

Самой острой, самой напряженной минутой Сопровожения было, по признанию Керенского, выступление Верховного Главнокомандующего генерала Лавра Корнилова. Для левых на Сопровожении это был символ грядущей "контрреволюции", для правых — живой "национальный герой", которому предстояло свергнуть "безвольное, находившееся в плену у Советов Временное Правительство" и "утвердить "сильную власть" в государство.

Незадолго до Сопровожения прошли выборы в Петроградскую Городскую Думу, где победу одержали эсеры.

В целом же по стране положение становилось все более критическим: немецкие войска угрожали Риге и Нарве,

на юге под угрозой оказались Молдавия и Бессарабия; инфляция; растущая безработица; продовольственные трудности... Правительство же, верное взятому с самого начала принципу, по-прежнему откладывало решение важнейших вопросов до окончания войны, до созыва Учредительного Собрания.

25 августа Верховный Главнокомандующий решил вмешаться в события. Он направил 3-ий корпус генерала Крымова на Петроград. Выступление генерала Корнилова вошло в историю под разными названиями: "заговор Корнилова", "мятеж Корнилова" — хотя вернее, по оценке генерала Деникина, было называть его "корниловским движением". Цели Корнилова были просты и ясны и совпадали с целями и желаниями здравомыслящих сил общества: остановить развал страны и армии, навести порядок, нанести удар по большевикам, в которых он, теперь-то видно каждому, справедливо видел основную разлагающую для страны силу... Вероятно, что результатом была бы временная военная диктатура, в которой "коалиционное" правительство увидело главную угрозу. Для кого? Так что эффект выступления генерала Корнилова привел к обратным результатам.

Укрепилось мнение о Корнилове как о храбрейшем солдате, человеке демократических и даже либеральных взглядов (в нем видели выход из положения многие социалисты, не говоря уже о генералитете и офицерстве), но совершенно несведущем политике. Есть политики "дальнего прицела" и есть политики "момента". Одно определенно можно сказать о Корнилове — он не был политиком момента, зато таковым оказался Керенский, который сам перед выступлением Корнилова осторожно, но соглашался на его требования. И вдруг этот же самый Керенский порвал с трудом налаженный союз и метнулся в сторону левой демократии. Он объявил Корнилова изменником, а революцию в опасности. К ее спасению правительство призвало теперь те самые Советы, у которых оно хотело отнять власть. К спасению призывался столичный пролетариат, которому раздавалось оружие...

1 сентября правительство арестовало генерала Корнилова. За ним последовали дальнейшие аресты генералов. Из армии изгонялось все лучшее, армия разрушалась окончательно. Из оставшихся генералов никто не хотел принять на себя Главное командование армией, даже генерал Алек-

сеев. Тогда Верховным Главнокомандующим был назначен б. присяжный поверенный Керенский с генералом Алексеевым в качестве начальника Генштаба.

После подавления выступления генерала Корнилова события развивались в двух направлениях. С одной стороны, благодаря все углублявшемуся политическому и экономическому кризису Ленин начал настойчиво требовать немедленной подготовки и проведения вооруженного восстания. 25 августа и 6 сентября впервые большевистские резолюции принимаются соответственно в Петроградском и Московском Советах.

С другой стороны, противники большевиков пытаются хоть какими-то паллиативами преградить путь большевизму. Одной из таких попыток стал созыв Демократического Сопещания (14—22 сентября), из которого был выделен Совет Республики, или так называемый предпарламент.

23 сентября было образовано новое Временное Правительство (коалиционное) во главе с Керенским.

Революция стремительно катилась к своей трагической для страны и всего мира развязке.



МИТИНГОВАЯ СТРАТЕГІЯ.

Теперь для всѣхъ ясно, что нашу армію сдѣлали толпой. Сдѣлали ее таковой наши просьбы къ ней и разныя деклараціи. У арміи отняли то, что дѣлало ее не толпой—дисциплину. За эти нѣсколько мѣсяцевъ ее отучили отъ приказовъ и сдѣлали все возможное, чтобы «развивая духъ общественности», не препятствовать пропагандѣ нѣмецкихъ агентовъ.

Въ арміи (въ *дѣйствующей* арміи!) вмѣсто боевыхъ устраивали митинги. Въ арміи, стоящей лицомъ къ лицу съ врагомъ! Въ результатѣ получился знаменитый прорывъ у Бржезанъ и появленіе непріятеля у государственной границы. Впрочемъ, вначалѣ прорывъ былъ сдѣланъ сравнительно на небольшомъ участкѣ и могъ быть при наличіи стойкости и повиновенія въ войскахъ легко ликвидированъ. Высшимъ командованіемъ немедленно было отдано распоряженіе двинуть къ мѣсту прорыва вполнѣ достаточныя силы, чтобы ловкимъ маневромъ зажать зарвавшихся, какъ казалось, нѣмцевъ въ тиски и отрѣзать имъ съ двухъ сторонъ путь къ отступленію. Но тутъ и случилось то ужасное, что въ арміи получило теперь названіе «митинговая стратегія». Большинство двинутыхъ въ прорывъ частей либо совершенно не вышли изъ своего квартирнаго расположенія, либо стали собирать митинги, чтобы рѣшить вопросъ о выходѣ на позицію въ порядкѣ голосованія. Два полка, которымъ была дана наиболѣе отвѣтственная задача,

обсуждали на митингѣ этотъ вопросъ до поздней ночи и, не придя ни къ какому рѣшенію, разошлись. Въ это время нѣмцы, не встрѣтивъ почти никакого серьезнаго сопротивленія, продвинулись къ намъ въ тылъ на двѣнадцать верстъ и начали захватывать батареи, множество плѣнныхъ и обходить съ сѣверной стороны Езерну, гдѣ стоялъ штабъ арміи.

Результатомъ «митинговой стратегіи» явилось—отечество въ опасности. Раздался крикъ отчаянія всего измученнаго и изстрадавшагося народа: спасите родину, спасите свободу!

”Искры” № 29, Июль 1917



ЖЕНЩИНЫ-ГЕРОИ.

Вотъ какъ сама Бочкарева рассказываетъ о боевомъ крещеніи перваго женскаго батальона.

Въ ночь съ 7 на 8 іюля полкъ долженъ былъ наступать. Работа артиллеріи быстро уничтожила нѣмецкія проволочныя загражденія и окопы.

По первому приказанію женскій батальонъ безудержно ринулся впередъ на первую линію германскихъ окоповъ.

Къ нашему ужасу, среди солдатъ что-то произошло. Часть пошла впередъ, большинство же повернуло къ врагу спиной. Отчаянные призывы и увѣщанія женщинъ успѣха не имѣли. Въ этотъ моментъ непріятель осыпалъ насъ тяжелыми снарядами.

Женскій батальонъ и вѣрные долгу солдаты тѣмъ не менѣе пошли впередъ и завладѣли двумя линіями окоповъ. Въ общей сумятицѣ мы сбились съ пути. Вмѣсто того, чтобы слѣдовать за полкомъ, мы взяли вправо и попали на мѣсто, усиленно обстрѣливаемое нѣмцами.

Вблизи виднѣлся С. лѣсъ. Батальонъ разсыпался цѣпью и пробрался въ этотъ лѣсъ.

Призывы на помощь не дѣйствовали на трусовъ. Солдаты отвѣчали, что боятся лѣса, такъ какъ тамъ могутъ быть нѣмцы.

Въ этомъ первомъ бою мы потеряли около 30 убитыхъ и до 70 раненыхъ. Моя помощница Скрыдлова, дравшаяся какъ львица, тяжело ранена.

Взятый на-дняхъ въ районѣ N корпуса плѣнный германецъ сообщалъ, что во время боя 8-го іюля на участкѣ С-го лѣса его ротой были взяты въ плѣнъ нѣсколько русскихъ солдатъ, среди которыхъ оказались 4 женщины-добровольца батальона Бочкаревой.

Какъ только нѣмцы узнали, что плѣнныя—женщины, ихъ раздѣли. Офицеры и солдаты стали всячески ругать и поносить ихъ, насмѣхаться. Когда настало время отправить плѣнныхъ въ тылъ, женщинъ пустили неодѣтыми, строго наказавъ конвойнымъ не давать имъ одежды.

”Искры” № 29, Июль 1917



Н О В Ы Е М И Н И С Т Р Ы.

Правительственный кризис разрешен и новый кабинет сформирован во главѣ съ А. Э. Керенскимъ. Въ министерство входятъ социалисты, кадеты, радикаль-демократы. Ни для кого не тайна, однако, что представительство всенародное, какое желали бы видѣть въ правительствѣ, не нашло себѣ полного выраженія. Новый кабинетъ носитъ характеръ правительства компромисса. Пока даемъ біографіи и портреты слѣдующихъ новыхъ министровъ.

Управляющимъ военнымъ министерствомъ назначенъ Б. В. Савинковъ, выступавшій недавно съ категорическимъ требованіемъ смертной казни для измѣнниковъ, доведшихъ армію до развала и катастрофы.

Дѣтство и юность Бориса Викторовича Савинкова протекли въ Варшавѣ, гдѣ жилъ его отецъ—мировой судья. Тамъ же онъ окончилъ гимназію. Затѣмъ поступилъ въ Петроградскій университетъ. Товарищемъ его по гимназіи, а впоследствии и по боевой организаціи с.-р. былъ извѣстный террористъ Каляевъ. Въ 1899 г. студентъ Савинковъ за беспорядки былъ уволенъ изъ Петрогр. унив. и высланъ въ Вологду, гдѣ познакомился съ Брешко-Брешковской. Это знакомство сыграло рѣшающую роль въ направленіи политической работы Бориса Викторовича. Онъ вступилъ въ партію с.-р. виднымъ работникомъ, которымъ остается и понынѣ. За время своей революціонной дѣятельности Савинковъ былъ арестованъ много разъ. Въ 1903 году онъ руководилъ дѣлами боевой организаціи партіи социалстовъ-революціонеровъ, былъ членомъ центрального комитета партіи с.-р., принималъ участіе въ убійствѣ Мина, въ дѣлѣ Плеве, въ убійствѣ московскаго генералъ-губернатора великаго князя Сергѣя Александровича, въ покушеніи на адмирала Дубасова и въ покушеніяхъ на царя, нынѣ свергнутаго великой революціонной русской арміей и цародомъ. Участвовалъ во многихъ политическихъ убійствахъ и покушеніяхъ. Въ маѣ 1906 года Савинковъ былъ арестованъ въ Севастополѣ по обвиненію въ покушеніи на коменданта Севастопольской крѣпости генерала Неплюева, но бѣжалъ изъ-подъ стражи наканунѣ смертной казни.

Въ 1907 г. Савинковъ бѣжалъ за границу, гдѣ много работалъ для дѣла великой русской революціи и теперь въ апрѣлѣ вернулся на родину.

Министръ внутреннихъ дѣлъ Н. Д. Авксентьевъ по окончаніи пензенской гимназіи поступилъ въ московскій университетъ. Въ 1900 году былъ арестованъ. Послѣ освобожденія уѣхалъ за границу, гдѣ окончилъ философскій и юридическій факультеты. Въ 1904 году Авксентьевъ вернулся въ Россію и здѣсь послѣ образованія перваго совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ въ 1906 году былъ избранъ товарищемъ предсѣдателя. Когда совѣтъ былъ ликвидированъ, Авксентьевъ былъ посланъ и впоследствии эмигрировалъ въ Парижъ.

Новому министру внутреннихъ дѣлъ въ настоящее время 39 лѣтъ. Въ Петроградѣ Авксентьевъ вернулся въ первые дни революціи. Послѣ образованія совѣта крестьянскихъ депутатовъ по предложенію Е. К. Брешко-Брешковской былъ избранъ предсѣдателемъ исполнительнаго комитета совѣта крестьянскихъ депутатовъ.

Онъ извѣстенъ, какъ прекрасный ораторъ и въ своей партіи носитъ кличку «Жоресъ».

Министромъ юстиціи назначенъ извѣстный адвокатъ А. С. Зарудный.

Сынъ творца судебныхъ уставовъ, А. С. Зарудный по окончаніи училища правовѣднія поступилъ на службу по министерству юстиціи, гдѣ занималъ цѣлый рядъ должностей въ центральномъ вѣдомствѣ. При бывшемъ министрѣ юстиціи Муравьевѣ вышелъ въ отставку и посвятилъ себя адвокатурѣ.



А. Ф. Керенский



Б. В. Савинков



Д. Авксентьев



А. С. Зарудный



Ф. Ф. Кокошкин



П. П. Юренев



И. Н. Ефремов

А. С. Зарудный участвовал въ цѣломъ рядѣ политическихъ процессовъ, въ томъ числѣ въ дѣлѣ лейтенанта Шмидта, процессѣ Бейлиса и т. д. Послѣ назначенія А. Ф. Керенскаго министромъ юстиціи, А. С. Зарудный занялъ постъ товарища министра юстиціи, затѣмъ былъ предсѣвателемъ петроградской судебной палаты. По своимъ политическимъ убѣжденіямъ А. С. Зарудный примыкаетъ къ трудовой группѣ.

Министромъ путей сообщенія назначенъ П. П. Юреневъ, членъ Г. Думы второго созыва. П. П. Юреневъ—инженеръ, одинъ изъ строителей Московско-Киево-Воронежской желѣзной дороги. Въ Москвѣ онъ выдвинулся своей дѣятельностью въ городскомъ самоуправленіи, сначала какъ гласный, затѣмъ, при М. В. Челноковѣ, какъ членъ управы и въ послѣднее время, при Н. И. Астровѣ, какъ товарищъ городского головы.

Въ послѣдніе годы былъ энергичнымъ работникомъ и въ союзѣ городовъ и въ «Земгорѣ», гдѣ участвовалъ въ организаціи транспортнаго дѣла. Въ московскомъ техническомъ обществѣ П. П. Юреневъ также игралъ видную роль.

П. П. Юреневъ—членъ центрального комитета партіи народной свободы.

Новый государственный контролеръ Э. Э. Кокошкинъ—извѣстный знатокъ государственнаго права. Перводумецъ и тов. секретаря 1-й Г. Думы Э. Э. Кокошкинъ былъ избранъ отъ Москвы, онъ воспитанникъ московскаго университета и впоследствии въ качествѣ прив.-доцента занималъ въ немъ кафедру госуд. права. Э. Э. Кокошкинъ занимаетъ видное мѣсто въ партіи народной свободы.

Министръ призрѣнія, только что покинувшій министерство юстиціи, гдѣ онъ пробылъ всего лишь нѣсколько дней—И. Н. Ефремовъ, извѣстный членъ Г. Думы всѣхъ четырехъ созывовъ, онъ происходитъ изъ казачьей семьи, давшей войску Донскому въ XVIII ст. двухъ атамановъ. И. Н. Ефремовъ много работалъ въ сельско-хозяйственныхъ обществахъ, какъ окружныхъ, такъ и мелкихъ казачьихъ и крестьянскихъ, дѣятельность которыхъ направлялъ къ содѣйствію мелкому сельскому хозяйству и къ пробужденію самодѣятельности и инициативы землевладѣльцевъ. Онъ является представителемъ радикально-демократической партіи.

“Искры” № 29, Июль 1917



ПОХОРОНЫ КАЗАКОВЪ.

15-го іюля состоялись похороны казаковъ, убитыхъ на улицахъ Петрограда во время вооруженныхъ беспорядковъ 3—5 іюля. Это была грандіозная траурная манифестація.

Съ 10-ти часовъ утра Невскій проспектъ и Морская улица приняли траурно-торжественный видъ. Магазины и банки закрыты. На панеляхъ масса публики.

Къ Исаакіевскому собору, въ который наканунѣ перевезены гробы съ тѣлами погибшихъ, стягиваются воинскія части. Въ полномъ составѣ присутствуетъ 4-й Донской казачій полкъ.

Семь металлическихъ гробовъ съ останками казаковъ, стоявшіе посреди собора, утопали въ живыхъ цвѣтахъ и въ массѣ вѣнковъ.

Во время отпѣванія къ Исаакіевскому собору прибылъ министръ - председатель А. О. Керенскій. Многочисленная толпа привѣтствовала его кликами «ура».

Около часа дня начался выносъ гробовъ. Несли вѣнки, среди которыхъ выдѣлялись: отъ исполнительнаго комитета совѣта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ изъ красныхъ розъ съ надписью: «Защитникамъ революціи, павшимъ жертвами при исполненіи революціоннаго долга 3—5-го іюля 1917 года»; отъ совѣта казачьихъ войскъ—«Честно исполнившимъ свой долгъ и погибшимъ отъ рукъ нѣмецкихъ наемниковъ»; отъ партіи народной свободы—«Вѣрнымъ сынамъ свободной Россіи, павшимъ въ борьбѣ съ предателями родины», и др.

Первый гробъ вынесенъ изъ собора на рукахъ членами временнаго правительства А. Ѳ. Керенскимъ, И. Н. Ефремовымъ, М. И. Скобелевымъ, И. В. Годневымъ. Второй гробъ несли предсѣдатель Государ-



Фот. Я. В. Штейнбергъ.

ственной Думы М. В. Родзянко, Ѳ. И. Родичевъ, П. Н. Милуковъ и др.

Когда гробы были поставлены на катаfalки, А. Ѳ. Керенскій, поднявшись на ступенькахъ паперти собора, обратился къ народу съ рѣчью. Между прочимъ онъ сказалъ: «Открыто передъ всѣми заявляю, что всякія попытки къ анархіи и беспорядкамъ, откуда бы онѣ ни исходили, будутъ безпощадно пресѣкаться. Прошу васъ всѣхъ передъ прахомъ погибшихъ поклясться, что вы всѣ вмѣстѣ съ нами членами правительства, спасете государство и свободу».

Толпа, какъ одинъ человекъ, поднимаетъ кверху руки, и отовсюду слышны возгласы: «К л я н е м с я!» Многие плачутъ.

Затѣмъ слѣдуетъ бурный взрывъ возгласовъ «ура».

Процессія медленно тронулась съ архіепископомъ Платономъ во главѣ.

За каждымъ гробомъ вели лошадь убитаго казака. Непосредственно за гробами шли А. О. Керенскій, М. И. Скобелевъ, В. М. Черновъ, В. Н. Львовъ, М. В. Родзянко.

Далѣе—группы рабочихъ делегацій отъ cadaго завода.

Шествіе замыкалось многочисленными войсками и оркестрами, исполнявшими все время похоронные марши. Невскій былъ переполненъ народомъ.

Возлѣ лавры кортежъ былъ встрѣченъ крестнымъ ходомъ. Погребеніе состоялось въ главномъ лаврскомъ дворѣ противъ собора, у митрополичьихъ покоевъ. При опусканіи гробовъ въ братскую могилу войска дали троекратный салютъ.

”Искры” № 29, Июль 1917



ТОБОЛЬСКЪ.

1-го августа бывшего царя съ его семьей отправили въ Тобольскъ, губернской городъ въ Западной Сибири. Городъ Тобольскъ—одинъ изъ старинныхъ въ Сибири, куда русскіе цари сотнями и тысячами ссылали своихъ «внутреннихъ враговъ», начиная съ князей Волконскихъ, Трубецкихъ. Онъ размѣстился на довольно живописномъ мѣстѣ при слияніи рр. Иртыша и Тобола. Лучшая часть города, съ каменными казенными зданіями, съ учебными заведеніями (мужская гимназія, духовная семинарія и др.),—на высококомъ гористомъ берегу Иртыша. Здѣсь же и единственная достопримѣчательность—садъ Ермака, съ памятникомъ этому завоевателю Сибири.

Средній обыватель устроился преимущественно подъ горой, на немощеныхъ, грязныхъ улицахъ. Деревянные домики, почти сплошь одноэтажные, часто напоминаютъ картину подлиннаго «сельскаго ландшафта».

А между тѣмъ, географія могла бы обѣщать лучшую участь городу, о которомъ русская исторія то и дѣло вспоминаетъ: Биронъ, Меншиковъ и затѣмъ безконечный рядъ именъ, воевавшихъ за свободу.

Къ вечеру 6-го августа у Тобольска показались пароходы «Русь» и «Кормилецъ» съ баржей «Тюмень».

Николай Романовъ стоялъ на палубѣ «Руси», показывая городъ дочерямъ.



Дом губернатора, в котором поселились Романовы

Когда пароходъ поравнялся съ пристанью, бывший царь спустился въ каюту. На пароходѣ Романовы провели пять дней, ожидая ремонта дома въ которомъ они будутъ жить. Только 11-го августа они, наконецъ, покинули пароходъ. Съ пристани шли пѣшкомъ. Только бывшая царица съ дочерью Ольгой вѣхали въ экипажѣ.

По пути слѣдованія стояли цѣпью солдаты мѣстнаго гарнизона и охрана.

Въ виду праздника базаръ, черезъ который пришлось итти бывшему царю съ семействомъ, былъ пустъ, и зрителей было мало. Только когда Романовы уже вошли въ домъ, вокругъ дома собралась толпа.

Забора въ это время еще не успѣли окончить.

Съ балкона «дома свободы» за происходившей суетой и случайными зѣваками изъ публики слѣдили дѣти Романова съ фрейлиной и Татицевымъ. Алексѣй—въ солдатской формѣ, дочери—въ англійскихъ костюмахъ съ бѣлыми шелковыми шарфами на головахъ.

Романовы помѣщаются въ домѣ губернатора, который послѣ революціи называется «домомъ сво-



Дом Корниловых, в котором помещалась охрана

ооды». Старинный, александровской эпохи, двухэтажный каменный домъ стоитъ въ самомъ центрѣ города, на главной улицѣ. Около группируются дома, снятые для охраны.

Квартира распределена слѣдующимъ образомъ: одна комната—Николаю, одна—Алисѣ, одна—Алексѣю, двѣ дочерямъ, общая столовая и залъ, остальныя заняты гувернеромъ, свитой и прислугой внизу.

Отсутствіе сада и мѣстоположеніе дома въ центрѣ города фактически лишили семью Романова прогулокъ.

Не имѣя точныхъ и подробныхъ предписаній, охрана предоставляетъ Романовымъ дышать свѣжимъ воздухомъ пока лишь на балконѣ, выходящемъ во дворъ, но все же видно съ улицы, что собираетъ всегда порядочное количество любопытныхъ.

Говорятъ, что пріѣзжіе недовольны помѣщеніями, хотя это лучшіе дома въ городѣ. А пріѣзжими недовольны тоболяки, предвидя повышение цѣнъ на продукты и ожидая безпокойствъ и волненій среди темныхъ массъ населенія.

"Искры" № 34, Сентябрь 1917

Политическое Обзорѣніе.

Четыре Правительства.

Когда изъ состава Временнаго Правительства ушли военный министръ А. И. Гучковъ и министръ иностранныхъ дѣлъ П. Н. Милюковъ, многіе утверждали, что такими частичными отставками министровъ подрывается въ корнѣ самая идея революціонной власти. Говорили, что, разъ революціонное движеніе поставило во главѣ Россіи опредѣленную группу лицъ, то эта группа должна, во что бы то ни стало, донести до Учредительнаго Собранія довѣренную ей полноту власти. Предсказывали, что, если это начало не будетъ соблюдено, то министерскіе кризисы будутъ у насъ слѣдовать за министерскими кризисами, и въ революціонной Россіи повторится та самая „министерская чехарда“, которая ознаменовала собою послѣдніе годы стараго режима.

Къ сожалѣнію, этому предсказанію суждено было осуществиться. Съ начала революціи не прошло еще и пяти мѣсяцевъ, а у власти успѣло смѣниться четыре состава Временнаго Правительства, и ни у кого нѣтъ настоящей увѣренности, что больше перемѣнъ не будетъ, и что съ Временнымъ Правительствомъ четвертаго состава мы дѣйствительно доживемъ до Учредительнаго Собранія. Какъ будто и въ самомъ дѣлѣ революціонная власть отсрвалась отъ своей первоосновы, и ей угрожаетъ величайшая опасность—повиснуть въ воздухѣ.

Первое Временное Правительство было, какъ всѣмъ памятно, назначено Временнымъ Комитетомъ Государственной Думы по приглашенію съ Петроградскимъ Совѣтомъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. Въ немъ были представлены различныя думскія фракціи, начиная отъ трудовиковъ, въ лицѣ А. Ф. Керенскаго, и до группы центра, въ лицѣ В. Н. Львова. Второе Временное Правительство, названное „коалиціоннымъ“, включило въ свои ряды официальныхъ делегатовъ партій с.-д. и с.-р. Образованіе его было подготовлено и одобрено тѣми же двумя революционными

установленіями — Временнымъ Комитетомъ Думы и Петроградскимъ Совѣтомъ. Третье Временное Правительство, торжественно признанное „Правительствомъ Спасенія Революціи“, было наименѣе долговѣчно. Оно сформировалось путемъ нѣкотораго внутренняго переустройства и приглашенія на министерскіе посты представителей молодой и мало вліятельной радикально-демократической партіи. Временный Комитетъ Думы вовсе не участвовалъ въ его составленіи. Центральный Исполнительный Комитетъ Совѣтовъ Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ санкціонировалъ его, когда оно уже стало совершившимся фактомъ. Четвертое Временное Правительство фактически образовано лично А. Ф. Керенскимъ; министры, Думскій Комитетъ, Центральный Комитетъ Совѣтовъ и политическія партіи единодушно предоставили министру-предсѣдателю неограниченныя полномочія и полную свободу въ дѣлѣ обновленія власти.

Четвертое правительство революціонной Россіи есть правительство Керенскаго. Его называютъ также „Правительствомъ Спасенія Страны“. Это названіе характеризуетъ то настроеніе, подъ вліяніемъ котораго составилось правительство Керенскаго, и тѣ чаянія, которыя связываетъ съ нимъ русское общественное мнѣніе. Господствующее у насъ сейчасъ настроеніе отмѣчено чертами разочарованія и усталости. Мы разочарованы развитіемъ, которое получила наша начавшаяся при такихъ прекрасныхъ предзнаменованіяхъ революція, и мы устали отъ внутреннихъ нестроеній, отъ партійныхъ передрагъ, отъ безконечнаго потока внѣшне эффектныхъ, а по существу пустыхъ словъ. Усталость рождаетъ тоску по твердой власти, разочарованіе заставляетъ вспоминать о душевномъ подъемѣ первыхъ революціонныхъ дней.

Угрожающіе признаки паденія „вкуса“ и „энтузіазма“ къ революціи наблюдались уже давно. Но только теперь, послѣ ленинскаго бунта въ Петроградѣ и тяжелаго пораженія на фронтѣ, все убѣдились, что такъ дальше жить нельзя, и что революціонная Россія подошла къ краю пропасти. Повторилась опять та же старая и вѣчно юная исторія. Общественные процессы совершаются медленно и постепенно въ толщѣ широкихъ круговъ населенія. Иные—болѣе трезвые и проницательные—подмѣчаютъ ихъ заблаговременно. Массы „прозрѣваютъ“ только тогда, когда общественный процессъ уже завершится и дастъ для всехъ видимые и осязаемые результаты. Ядъ ленинства разлагаетъ нашу національную политику и ея главную опору—нашу армію съ первыхъ дней революціи. Самого Ленина еще не было въ Россіи, а его идеи уже оказывали свое разрушительное дѣйствіе на нашу государственную и общественную жизнь, подтачивая власть и развращая матеріальную силу, на которую эта власть опирается. Ленинство въ арміи пошло у насъ отъ „приказа № 1“. Ленинство во внутренней политикѣ существуетъ съ тѣхъ поръ, какъ на почвѣ конкуренціи между Временнымъ Правительствомъ

и Совѣтами Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ установилось такъ называемое „двоевластіе“.

Защищая интернаціонализмъ и бунтарство, ленинство остается, какъ ученіе, цѣлостнымъ и законченнымъ. Во взглядахъ на международныя отношенія оно до сихъ поръ вѣрно дозунгу коммунистическаго манифеста: „у пролетарія нѣтъ отечества!“ Въ области внутренняго государственнаго порядка оно, пренебрегая мирной эволюціей, проповѣдуетъ „диктатуру“ и „захватъ власти“. Ленинцы у насъ отрицали войну и національную оборону и защищали идею „братанія“ русскихъ пролетаріевъ съ германскими. Такія понятія, какъ Россія, родина, отечество, были ими объявлены „буржуазными“ и взяты подъ формальный запретъ. Но, конечно, „братства народовъ“ проповѣдь ленинцевъ намъ не принесла, и единственнымъ ея результатомъ явилось пораженіе русской революціонной арміи и новое торжество германскаго милитаризма. Въ стремленіи къ „захвату власти“ или къ передачѣ ея Совѣтамъ, которые не хотѣли ея брать, ленинцы устраивали всоруженныя манифестаціи и бунты. Конечно, и здѣсь они потерпѣли неудачу. Но, не захвативъ власти, ленинцы успѣли разстроить ея механизмъ и помѣшати ея правильной работѣ. Справедливость однако требуетъ сказать, что, дѣлая то и другое, они, со своей точки зрѣнія, были совершенно послѣдовательны.

И вотъ теперь ленинство наконецъ, по крайней мѣрѣ на время, исчезло съ нашей политической сцены. Намъ нужно по возможности залѣчить раны, нанесенныя имъ Россіи, собрать и укрѣпить власть, поднять боеспособность арміи, возстановить порядокъ внутри страны. За эти задачи берется четвертое правительство, правительство Керенскаго, и если ему удастся ихъ осуществить, оно спасетъ Россію, а если оно спасетъ Россію, оно спасетъ и революцію. Но для этого правительство должно ясно видѣть и твердо помнить, въ чемъ была сила нашего революціоннаго движенія въ его началѣ, и откуда пошла его слабость. Наша революція была могущественна и прекрасна, пока она была революціей народной. Она выродилась и стала клониться къ упадку, когда размѣнялась на мелочные партійные и классовые счеты, когда величавый народный потокъ раздѣлился на множество мелкихъ и мутныхъ ручейковъ. Если мы хотимъ спасти революцію или то, что изъ ея завоеваній еще можетъ быть спасено, намъ нужно вернуться къ ея чистымъ національнымъ истокамъ.

Проф. К. Соколовъ.

„Нива“ № 30, Июль 1917

ГЛАВА IV - я.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА.

Генераль Корниловъ.

Въ общемъ итогѣ тѣхъ сложныхъ настроеній, анализу которыхъ мы посвятили предшествующую главу, назрѣвавшая борьба персонифицировалась въ двухъ личностяхъ: въ Керенскомъ и въ Корниловѣ. Эта персонификація, къ которой часто приходитъ въ послѣдней своей стадіи борьба въ области социальной жизни, есть интереснѣйшее социологическое явленіе. Особенно рѣзко оно выражается въ наиболѣе напряженные періоды, какъ напримѣръ во время войны и въ революціи. Настоящая работа задаетъ себѣ цѣлью изслѣдовать преимущественно объективную сторону русскаго контр-революціоннаго движенія. Субъективная сторона отдѣльныхъ событій этого движенія представляетъ собою тоже большой историческій интересъ. Изслѣдованію cadaго изъ событій, съ такой точки зрѣнія, должна быть посвящена подробная работа. Послѣдняя должна вестись какъ бы подъ микроскопомъ, ибо для составленія истинной картины субъективной стороны событія требуется изученіе рѣшительно всѣхъ деталей. Поэтому изученіе, такъ называемаго, «Корниловскаго выступленія» требуетъ спеціального, и весьма вѣроятно, многотомнаго труда. Научныя работы, подобныя нашей, требуютъ иныхъ методовъ изслѣдованія. Стремясь выдѣлить объективную сторону цѣлаго цикла явленій, мы должны подняться надъ подробностями субъективныхъ элементовъ социальной жизни, подобно тому какъ для того, чтобы увидѣть общую картину мѣстности, нужно подняться на высокую гору. Вотъ почему, изслѣдуя въ настоящей главѣ выступленіе генерала Корнилова, предста-

Главы из книги "Российская контр-революция в 1917-1918"
Часть 2. Приложение к "Иллюстрированной России" на 1917 г.

вляющаго собою первую вспышку контръ-революціоннаго движенія, мы не будемъ возстанавливать передъ читателемъ всей фактической стороны, а будемъ останавливать вниманіе только на тѣхъ фактахъ и на тѣхъ «субъективностяхъ», которые нужны для пониманія объективной стороны изучаемаго нами социальнаго процесса.

Вышеуказанная «персонификація» въ столкновеніи двухъ личностей Корнилова и Керенскаго придавала этой борьбѣ чрезвычайно субъективный характеръ. «Къ несчастью Россіи, оба лица..., отъ которыхъ зависѣло сдѣлать успѣшной... послѣднюю попытку къ спасенію, были до послѣдней степени неприспособлены и для этой задачи, и для взаимнаго союза» *). Но появленіе Керенскаго на верхахъ Правительства, а генерала Корнилова на посту Верховнаго Главнокомандующаго не было случайностью. Она само являлось слѣдствіемъ «объективныхъ условій». Эти условія создаютъ опредѣленный «соціальный подборъ». Въ здоровомъ общественномъ организмѣ этотъ подборъ приводитъ къ тому, что, выражаясь словами англійской пословицы, «надлежащій человѣкъ» оказывается на «надлежащемъ мѣстѣ». Въ больномъ общественномъ организмѣ, въ особенности при сильной соціальной болѣзни, этотъ процессъ можетъ приводить и къ другимъ результатамъ; на «надлежащемъ мѣстѣ» оказываются не «надлежащіе люди», а тѣ, которые болѣе отвѣчаютъ ненормальнымъ вкусамъ больного общества.

Взвинченное настроеніе тѣхъ круговъ интеллигенціи, патриотическое чувство которыхъ было больно уязвлено проваломъ наступленія и въ особенности Тарнопольскимъ разгромомъ, требовало замѣну опортуниста генерала Брусилова болѣе колоритной фигурой, нежели предшественникъ генерала Брусилова ген. Алексѣевъ. А между тѣмъ, послѣдній несомнѣнно былъ единственнымъ «надлежащимъ» человѣкомъ на посту Верховнаго Главнокомандующаго въ создавшихся къ этому времени чрезвычайно сложныхъ условіяхъ... Это онъ вывелъ Русскія арміи изъ катастрофы 1915 года, это онъ возстановилъ ихъ въ зиму 1915 — 1916 г. г. и сдѣлалъ ихъ способными одержать Галиційскую побѣду 1916 года. Но фигура его была слишкомъ скромна. Обывательское мнѣніе требовало болѣе яркихъ фигуръ. Оно отворачивалось отъ Кутузовыхъ и

*) П. Н. Миллюковъ, «Россія на переломѣ», Т. I, стр. 103.

искало Багратионовъ. Такой ярко выраженной фигурой героя и былъ генераль Корниловъ.

Безумно храбрый, прямолинейно рѣшительный, властный и честолюбивый, онъ какъ нельзя больше отвѣчалъ психологii революціоннаго времени. И не случайно было то, что рукой, выдвинувшей ген. Корнилова на верхи Главкома командованія, была рука извѣстнаго террориста, социалиста-революціонера, Савинкова. Чрезвычайно характерна въ вышеуказанномъ психологическомъ отношеніи первая встрѣча комиссара Юго-Западнаго фронта Савинкова съ командующимъ 8-й арміей генераломъ Корниловымъ. «Генераль», сказалъ Савинковъ: «я знаю, что если сложатся обстоятельства, при которыхъ вы должны будете разстрѣлять меня, вы меня разстрѣляете». Потомъ, послѣ нѣкоторой паузы, онъ прибавилъ: «но если условія сложатся такъ, что мнѣ придется васъ разстрѣлять, я тоже это сдѣлаю».

Прямолинейная рѣшительность, которая сдѣлала генерала Корнилова однимъ изъ лучшихъ строевыхъ генераловъ, не исчерпывала того, что требовалось отъ Верховнаго Главкома командованія. Особенно въ революціонное время на этомъ посту требовалась рѣшительность болѣе сложнаго порядка. Мы позволимъ себѣ такое сравненіе: генераль Корниловъ стремился разрубать всѣ встрѣчающіеся на его пути узлы, подобно тому, какъ это сдѣлалъ съ Гордіевымъ узломъ Александръ Македонскій. Между тѣмъ узлы, создаваемые въ социальной жизни «объективными условіями», приходится развязывать или даже только распутывать. Вотъ почему, повторяемъ, съ виду менѣе рѣшительный, но болѣе мудрый генераль Алексѣевъ болѣе подходилъ къ роли Верховнаго Главкома командующаго.

По ироніи судьбы генераль Алексѣевъ былъ убранъ съ этой должности за контръ-революціонность, какъ разъ рукой Керенскаго, которому предстояло теперь столкнуться въ лицѣ генерала Корнилова съ несравненно болѣе строптивымъ подчиненнымъ Временнаго Правительства.

Сильный характеръ, увѣренность въ самомъ себѣ въ сочетаніи съ нѣкоторой упрощенностью въ пониманіи политической жизни приводили къ тому, что ген. Корниловъ допускалъ только одинъ путь спасенія страстно любимой имъ Родины, а именно тотъ, который онъ самъ видитъ. Отсюда легко могъ возникнуть мессіаниззмъ, т. е. вѣра въ то, что Рос-

сія можетъ быть спасена только имъ, Корниловымъ. Конечно, здѣсь находило откликъ его честолюбіе, но несомнѣнно, что въ еще большей мѣрѣ эта вѣра въ свою собственную миссію питалась изъ источниковъ болѣе высокаго характера, а именно изъ глубокаго патріотизма и крайней дѣйственности его натуры.

Однимъ словомъ, генераль Корниловъ вполнѣ отвѣчалъ облику тѣхъ революціонныхъ генераловъ, которые сыграли большую роль въ исторіи Франціи на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій. Разлічіе было лишь въ объективныхъ условіяхъ: французская революція вызвала величайшій патріотическій подъемъ во французскихъ народныхъ массахъ и повела рядъ наступательныхъ войнъ; наша же революція сама явилась послѣдствіемъ тяжелой войны и выявила нежеланіе народныхъ массъ продолжать эту войну, патріотическій же подъемъ для продолженія борьбы съ внѣшнимъ врагомъ вмѣстѣ съ либеральной интеллигенціей переходить изъ революціоннаго лагеря въ контръ-революціонный.

Чрезвычайная сложность объективныхъ условій была такова, что не поддавалась разрѣшенію упрощенными способами и по кратчайшимъ путямъ. Вслѣдствіе этого, ген. Корниловъ, несмотря на его большой характеръ, въ тѣхъ случаяхъ, когда самъ не видѣлъ прямолинейнаго разрѣшенія возникавшихъ передъ нимъ вопросовъ, легко поддавался подъ вліяніе постороннихъ лицъ. Его склонность къ упрощеннымъ способамъ дѣйствій благопріятствовала вліянію лицъ съ упрощеннымъ міросозерцаніемъ, легко бравшихся за рѣшеніе сложнѣйшихъ проблемъ, вслѣдствіе своей недобросовѣстности и безпринципности *). Генераль Корниловъ—самъ высокочестный и добросовѣстный человекъ — судилъ своихъ совѣтниковъ по себѣ, принимая легковѣсность ихъ предложеній за рѣшительность и не видя, что его толкаютъ на путь чистаго авантюризма.

При такихъ субъективныхъ условіяхъ назначеніе генерала Корнилова на постъ Верховнаго Главнокомандующаго предрѣшало неминуемо его дальнѣйшее стремленіе къ военной диктатурѣ. Мы знаемъ, что уже какъ только онъ узналъ о своемъ назначеніи Верховнымъ Главнокомандующимъ, онъ по-

*) Ген. Деникинъ, «Очерки Русской Смуты», Т. II. стр. 15.

требовалъ *) отъ Временнаго Правительства признанія за нимъ отвѣтственности «только передъ собственной совѣстью и всѣмъ народомъ», устанавливая этимъ, какъ правильно замѣчаетъ генералъ Деникинъ, «оригинальную схему сувереннаго командованія».

«30 или 31-го іюля (12-го или 13-го августа по стар. стилю; прим. Н. Н. Г.) въ разговорѣ со мной», пишетъ далѣе очень близко знавшій генерала Корнилова ген. Деникинъ, «онъ упоминалъ о полной мощи Верховнаго Главнокомандующаго, но нѣсколько расширенной правами по умиротворенію взбаламученной народной стихіи. Позднѣе въ бесѣдахъ съ цѣлымъ рядомъ лицъ, такъ или иначе причастныхъ къ движенію, выдвигаются самыя разнообразныя формы «сильной власти», какъ-то: пересозданіе на національныхъ началахъ кабинета Керенскаго, перемѣна главы правительства, введеніе Верховнаго Главнокомандующаго въ составъ правительства, совмѣщеніе званія министра предсѣдателя и Верховнаго, директорія и, наконецъ, единоличная диктатура. Нѣтъ сомнѣнія, что самъ генералъ Корниловъ, и въ особенности ближайшее его окруженіе склонялись къ этой послѣдней формѣ правленія...» **).

Однако, тоже не подлежитъ никакому сомнѣнію, что, стремясь къ военной диктатурѣ, генералъ Корниловъ не задавался никакими реставраціонными цѣлями. «Онъ смотрѣлъ на себя», пишетъ тотъ же генералъ Деникинъ, «какъ на могучій таранъ, который долженъ былъ пробить брешь въ заколдованномъ кругу силъ, облѣпившихъ власть, обезличившихъ и обезкровившихъ ее. Онъ долженъ былъ очистить эту власть отъ элементовъ негосударственныхъ и ненаціональныхъ и во всеоружии силы, опирающейся на возстановленную армію, поддержать и привести эту власть до изъявленія народной воли».

Въ борьбѣ между Керенскимъ и Корниловымъ замѣчательно отсутствіе прямыхъ политическихъ и соціальныхъ лозунговъ, которые могли бы разъединить враждующія стороны. Такъ же какъ Керенскій, Корниловъ всей душой признавалъ политическія завоеванія революціи, такъ же какъ Керенскій, онъ былъ сторонникомъ передачи земли крестьянамъ, такъ же какъ Керенскій, онъ признавалъ, что суверенною властью

*) Телеграмма отъ 1-го августа (19 іюля) 1917г. Цитировано въ 3-й главѣ.

***) Ген. Деникинъ, «Очерки Русской Смуты», Т. II. стр. 35.

является власть народа, а потому совершенно искренне хотѣлъ довести страну до созыва учредительнаго собранія; наконецъ, онъ былъ сторонникомъ продолженія войны, но, какъ мы знаемъ, Керенскій тоже раздѣлялъ это убѣжденіе.

Ни до выступленія, ни во время его Корниловъ не ставилъ опредѣленной политической программы, а говорилъ только о спасеніи Россіи отъ губящей ее анархіи. Онъ говорилъ только, какъ великій патріотъ, но не какъ политической вождь. Вслѣдствіе этого «политическій обликъ Корнилова остался для многихъ неяснымъ и теперь... Вокругъ его имени плетутся легенды, черпающія свое обоснованіе въ характерѣ того окруженія, которое не разъ творило его именемъ свою волю».... «Монархистъ — республиканецъ. Реакціонеръ — социалистъ. Бонапартъ — Пожарскій. Мятежникъ — народный герой. Такими противоположеніями полны отзывы о покойномъ вождѣ. И если Черновъ *) нѣкогда въ своемъ возмутительномъ воззваніи объяснялъ планы Корнилова желаніемъ «задушить свободу и лишить крестьянъ земли и воли», то митрополитъ Антоній **) въ словѣ, посвященномъ памяти Корнилова.... упрекнулъ погибшаго... въ «увлеченіи революціонными идеями».

«Вѣрно одно: Корниловъ не былъ ни социалистомъ, ни реакціонеромъ. Напрасно было въ предѣлахъ этихъ широкихъ рамокъ искать какого-либо партійнаго штампа. Подобно преобладающей массѣ офицерства и команднаго состава, онъ былъ далекъ и чуждъ всякаго партійнаго догматизма; по взглядамъ, убѣжденіямъ, примыкалъ къ широкимъ слоямъ либеральной демократіи»....

Одно только можно совершенно твердо утверждать, основной мотивъ всего поведенія генерала Корнилова былъ горячій патріотизмъ, который былъ возбужденъ до самой высокой точки кипѣнія отъ вида разлагающейся арміи и страны, стремительно шедшей въ пропасть анархіи; будучи волевымъ и крайне дѣйственнымъ челевѣкомъ, онъ не могъ мириться съ тѣмъ, что «будущее народа — въ слабыхъ безвольныхъ рукахъ» ***).

*) Социалистъ-революціонеръ, министръ земледѣлія въ правительствѣ Керенскаго.

**) Принадлежащій къ ультра-монархическимъ кругамъ.

***) Изъ «Обращенія къ народу» ген. Корнилова 9 сентября (28-го августа).

Выступление ген. Корнилова противъ Вр. Правительства.

Ген. Корниловъ не подозрѣвалъ, что, начиная съ посѣщенія Львова, Керенскій ведетъ съ нимъ нечистую игру. По свидѣтельству начальника дипломатической канцеляріи въ Ставкѣ кн. Трубецкаго *), видѣвшаго ген. Корнилова сейчасъ послѣ мистификаціоннаго телеграфнаго разговора Керенскаго: «вздохъ облегченія вырвался изъ его груди, и на вопросъ кн. Трубецкаго «значить, Правительство идетъ Вамъ навстрѣчу во всемъ?» — Онъ отвѣтилъ: Да».

Послѣ разговоровъ съ военнымъ министромъ Савинковымъ во время его посѣщенія Ставки, послѣдняя спѣшно вызвала съ фронтовъ наиболѣе твердыхъ офицеровъ, для отправки ихъ въ Петроградъ, гдѣ они должны были съ помощью юнкеровъ и надежныхъ солдатъ образовать команды для противодѣйствія ожидающемуся выступленію большевиковъ впредь до прибытія 3-го коннаго корпуса. Послѣднему же было приказано грузиться въ поѣзда, при чемъ эта погрузка уже происходила во время вышеприведеннаго телеграфнаго разговора Керенскаго.

Вотъ почему телеграмма послѣдняго съ отрѣшеніемъ ген. Корнилова отъ должности Верховнаго Главнокомандующаго произвела эффектъ внезапно разорвавшейся бомбы.

Первая мысль, которая пришла большинству читавшихъ телеграмму, была та, что она подложная, присланная съ цѣлью задержать движеніе 3-го кон. корпуса къ Петрограду.

Вторая мысль заключалась въ томъ, что увольненіе ген. Корнилова произведено Керенскимъ не по доброй волѣ, а подъ давленіемъ Петроградскаго совѣта солд. и рабоч. депутатовъ. Какъ мы знаемъ, на только что бывшемъ засѣданіи въ Ставкѣ, на которомъ присутствовали и военный министръ Савинковъ и начальникъ военнаго кабинета Керенскаго

*) Мартыновъ, «Корниловъ», стр. 99.

полковн. Барановскій, было высказано, что, вѣроятно, «на почвѣ предстоящихъ событій, кромѣ выступленія большевиковъ, выступятъ и члены совѣта», и что въ этомъ случаѣ необходимо рѣшительно дѣйствовать и противъ нихъ.

Возникло даже предположеніе, что Керенскій сталъ плѣнникомъ, если и не въ физическомъ смыслѣ этого слова, то въ моральномъ; предшествующая неустойчивая политика давала основаніе для такого предположенія.

Вотъ мотивы, которые въ чрезвычайно напряженной психологической обстановкѣ, создавшейся въ Ставкѣ, побудили ген. Корнилова не подчиниться телеграммѣ Керенскаго. Его же начальникъ штаба, ген. Лукомскій, которому приказывалось временно принять должность отъ ген. Корнилова, послалъ Предсѣдателю совѣта министровъ слѣдующую телеграмму:

«Ваша сегодняшняя телеграмма указываетъ, что рѣшеніе, принятое прежде вами и сообщенное отъ вашего имени Савинковымъ и Львовымъ, нынѣ измѣнилось. Считаю долгомъ совѣсти, имѣя въ виду лишь пользу Родины, опредѣленно вамъ заявить, что теперь остановить начавшееся съ вашего же одобренія дѣло невозможно *), и это поведетъ лишь къ гражданской войнѣ, къ окончательному разложенію арміи и къ позорному сепаратному миру, слѣдствіемъ чего, конечно, не будетъ закрѣпленіе завоеваній революціи. Ради спасенія Россіи вамъ необходимо идти съ генераломъ Корниловымъ, а не смѣщать его. Смѣщеніе генерала Корнилова поведетъ за собою ужасы, которыхъ Россія еще не переживала. Я лично не могу принять на себя отвѣтственность за Армію, хотя бы на короткое время, и не считаю возможнымъ принимать должность отъ генерала Корнилова, ибо за этимъ послѣдуетъ взрывъ въ Арміи, который погубитъ Россію. Ожидаю срочныхъ указаній. 27 августа (9 сент. нов. стилия; примѣчаніе Н. Н. Г.) № 6406, Лукомскій».

Въ теченіе 9-го сентября (27 августа) Савинковъ и рядъ лицъ принимаютъ мѣры, чтобы найти мирный исходъ изъ создавагося положенія. Но съ одной стороны ген. Корни-

*) Вопросъ идетъ о движеніи 3-го кон. корпуса къ Петрограду, Примѣч. Н. Н. Г.

ловъ упорствуетъ въ своемъ нежеланіи сдать должность *), съ другой стороны Керенскій, опасаясь двигающагося на Петроградъ 3-го кочнаго корпуса, торопится приобрести содѣйствіе со стороны Петроградскаго совѣта, а это могло быть достигнуто лишь скорѣйшимъ объявленіемъ генерала Корнилова мятежникомъ. Съ этой цѣлью, пока еще шли переговоры по аппарату съ генераломъ Корниловымъ, ближайшимъ помощникомъ Керенскаго Некрасовымъ было передано для опубликованія особое официальное извѣщеніе Предсѣдателя Совѣта министровъ, которое появилось въ тотъ же день въ экстренныхъ выпускахъ газетъ. Вотъ текстъ этого извѣщенія, представлявшаго собой также и приказъ:

«Отъ министра предсѣдателя. Объявляю: 26-го августа (8 сент. по новому стилю; примѣчаніе Н. Н. Г.) генераль Корниловъ прислалъ ко мнѣ члена Государственной Думы В. Н. Львова съ требованіемъ передачи Временнымъ Правительствомъ генералу Корнилову всей полноты гражданской и военной власти съ тѣмъ, что имъ, по личному усмотрѣнію, будетъ составлено новое правительство для управленія страной. Дѣйствительность полномочій члена Государственной Думы Львова сдѣлать такое предложеніе была подтверждена, затѣмъ, генераломъ Корниловымъ при разговорѣ со мною по прямому проводу».

«Усматривая въ предъявленіи этого требованія, обращеннаго въ моему лицѣ къ Временному Правительству, желаніе нѣкоторыхъ круговъ русскаго общества воспользоваться тяжельшимъ положеніемъ государства для установленія въ странѣ государственнаго порядка, противорѣчащаго завоеваніямъ революціи, Временное Правительство признало необходимымъ для спасенія Родины, свободы и республиканскаго строя уполномочить меня принять скорыя и рѣшительныя мѣры, дабы въ корнѣ пресѣчь всякія попытки посягнуть на Верховную власть въ государствѣ и на завоеванные революціей права гражданъ».

«Всѣ необходимыя мѣры къ охранѣ свободы и порядка въ странѣ мною принимаются и о таковыхъ населеніе своевременно будетъ поставлено въ извѣстность. Въмѣстѣ съ тѣмъ, приказываю:

*) Объясненіе ген. Корнилова, а также его дальнѣйшій разговоръ съ Савинковымъ и Маклаковымъ приведены въ приложеніи № 12.

«1. Генералу Корнилову сдать должность Верховнаго Главнокомандующаго генералу Клембовскому, Главнокомандующему арміями сѣвернаго фронта, преграждающаго пути къ Петрограду. Генералу Клембовскому временно вступить въ должность Верховнаго Главнокомандующаго, оставаясь во Псковѣ».

«2. Объявить г. Петроградъ и Петроградскій уѣздъ на военномъ положеніи, распространивъ на него дѣйствіе правилъ о мѣстностяхъ, объявленныхъ состоящими на военномъ положеніи».

«3. Призываю всѣхъ гражданъ къ полному спокойствію и сохраненію порядка, необходимаго для спасенія Родины. Всѣхъ чиновъ Арміи и Флота призываю къ самоотверженному и спокойному выполненію долга защиты Родины отъ врага вѣшняго».

Это извѣщеніе было сообщено въ Ставку и во всѣ штабы въ видѣ телеграммы № 4163. Въ Могилевѣ эта телеграмма была получена поздно вечеромъ 9-го сентября (27 августа). Ложное объясненіе конфликта вызвало тамъ взрывъ негодованія. Немедленно же изъ Ставки за подписью генерала Корнилова для всеобщаго извѣщенія была послана во всѣ штабы, учрежденія и по линіямъ желѣзныхъ дорогъ слѣдующая телеграмма:

«Телеграмма министра-предсѣдателя за № 4163, во всей своей первой части, является сплошной ложью: не я послалъ члена Государственной Думы Владиміра Львова къ Временному Правительству, а онъ пріѣхалъ ко мнѣ, какъ посланецъ министра-предсѣдателя. Тому свидѣтель членъ Государственной Думы Аладьинъ. Такимъ образомъ, свершилась великая провокація, которая ставитъ на карту судьбу отечества».

«Русскіе люди! Великая Родина наша умираетъ. Близокъ часъ кончины. Вынужденный выступить открыто — я, генералъ Корниловъ, заявляю, что Временное Правительство, подъ давленіемъ большевицкаго большинства Совѣтовъ, дѣйствуетъ въ полномъ согласіи съ планами Германскаго генеральнаго штаба и, одновременно съ предстоящей высадкой вражескихъ силъ на Рижскомъ побережьѣ, убиваетъ Армію и потрясаетъ страну внутри».

«Тяжелое сознаніе неминуемой гибели страны повелѣваетъ мнѣ въ эти грозныя минуты призвать всѣхъ Русскихъ людей къ спасенію умирающей Родины. Всѣ, у кого бьется

въ груди Русское сердце, всѣ, кто вѣрять въ Бога — въ Храмы, молитѣ Бога объ явленіи величайшаго чуда, спасенія родимой земли!»!

«Я, генераль Корниловъ, сынъ казака-крестьянина, заявляю всѣмъ и каждому, что мнѣ лично ничего не надо, кромѣ сохраненія Великой Россіи, и клянусь довести народъ, путемъ побѣды надъ врагомъ, до Учредительнаго Собранія, на которомъ онъ самъ рѣшитъ свои судьбы и выберетъ укладъ своей новой государственной жизни. Предать же Россію въ руки ея исконнаго врага — германскаго племени и сдѣлать Русскій народъ рабами нѣмцевъ, я не въ силахъ и предпочитаю умереть на полѣ чести и брани, чтобы не видѣть позора и срама Русской земли».

«Русскій Народъ, въ твоихъ рукахъ жизнь твоей родины!»!

Мы нарочно привели полный текстъ обѣихъ телеграммъ. Онѣ имѣютъ большое психологическое значеніе для изученія контръ-революціоннаго движенія. Не только потому, что «Извѣщеніе» Керенскаго, хотя и не произносило слово «Мятежникъ», но по существу дѣла объявляло его таковымъ въ ту минуту, когда никакого мятежа еще не было; не только потому, что спровоцированная этимъ объявленіемъ телеграмма ген. Корнилова, дѣйствительно, призвала къ «мятежу» противъ Временнаго Правительства; эти телеграммы особенно важны тѣмъ, что зафиксировали окончательный разрывъ внутри той силы, которая вырабатывалась инстинктомъ самосохраненія государственнаго организма для борьбы противъ дальнѣйшаго дѣйствія разрушительныхъ силъ революціи.

Эти телеграммы читались людьми въ исключительно повышенномъ психическомъ состояніи. Многіе изъ этихъ словъ вызвали мысли, которыя надолго вѣзались въ ихъ души; самыя слова были забыты, но мысли, воспринятыя въ повышенной до крайности психической обстановкѣ, опустились въ подсознаніе и приобрѣли силу тѣхъ представленій, которыя разъ усвоенныя массаами требуютъ для своего разрушенія большихъ усилій.

«Извѣщеніе» Керенскаго не только живо излагало предшествующія событія; оно, не произнося слова «реставрація», внушало мысль о реставраціонномъ характерѣ выступленія ген. Корнилова. Подобное обвиненіе имѣло въ обстановкѣ того времени величайшую силу воздѣйствія на мас-

сы. Крестьянинъ—боялся потерять захватываемую имъ землю: рабочій — создавшееся для него привилегированное положеніе; солдатъ — возможность немедленнаго же прекращенія войны. Для крестьянина и рабочаго само по себѣ имя Корнилова очень мало говорило. Поэтому для нихъ не было никакихъ основаній вѣрить его завѣреніямъ, что ему «лично ничего не надо». Наоборотъ, они склонны были скорѣе не довѣрять ему, такъ какъ въ ихъ примитивной психологіи фактъ, что Корниловъ «Царскій генераль», неразрывно связывался съ представленіемъ реставратора. Вотъ почему «Извѣщеніе» Керенскаго бросало сѣмена на чрезвычайно благопріятную почву для возвращенія недовѣрія къ генералу Корнилову, а вмѣстѣ съ нимъ и къ тому виду контръ-революціоннаго движенія, которое впослѣдствіи получило названіе «бѣлаго». А что представляло собою имя ген. Корнилова для солдатъ? Отвѣтимъ словами генерала Краснова, ставшаго впослѣдствіи однимъ изъ виднѣйшихъ вождей «Бѣлаго движенія», а въ разсматриваемыя нами минуты вѣхавшаго къ 3-му конному корпусу. «Для солдатъ», говорилъ Красновъ *), «имя Корнилова стало равнозначущимъ смерти, казни и всякимъ наказаніямъ. Корниловъ хочетъ войны, — говорили они, — а мы желаемъ мира». Въ такихъ психологическихъ условіяхъ призывъ генерала Корнилова не могъ конкурировать съ призывомъ Керенскаго. Болѣе того, «Извѣщеніе» Керенскаго зажигало огонь вражды солдатской массы къ офицерской, яркимъ представителемъ которой являлся генераль Корниловъ.

Въ прошлой главѣ мы говорили, что на московскомъ государственномъ совѣщаніи обрисовался обликъ новой контръ-революціонной силы: казачества. Но мы уже указали тамъ, что въ самомъ казачествѣ въ это время еще бушевала революціонная стихія. Мы указали также, что заявленія ген. Каледина были въ этомъ отношеніи преувеличенными и преждевременными. Вотъ почему, хотя среди рядовъ казаковъ «Извѣщеніе»-приказъ Керенскаго и не имѣлъ того же эффекта, какъ среди солдатской массы, но и призывъ-приказъ ген. Корнилова тоже не вызвалъ желанія идти бороться подъ его знаменіемъ. Рядовой казакъ, не могущій еще разобраться въ той политической неразберихѣ, которую онъ видѣлъ вокругъ себя, хо-

*) «Архивъ Русской Революціи», Т. I, стр. 104, статья ген. Краснова «На внутреннемъ фронтѣ».

тѣль пока остаться нейтральнымъ. Опять-таки жажда окончанія войны, которую онъ также испытывалъ, не располагала его идти за Корниловымъ. Тотъ же генералъ Красновъ, пробираясь къ штабу 3-го коннаго корпуса, обгонялъ его эшелоны, двигавшіеся къ Петрограду. Бесѣдуя съ солдатами и казаками, онъ вынесъ слѣдующее впечатлѣніе: «Психологія тогдашняго крестьянина и казака была проста до грубости: долой войну; давай намъ миръ и землю; миръ по телеграфу. А приказъ настойчиво звалъ къ войнѣ и побѣдѣ».

При такихъ условіяхъ «Извѣщеніе» Керенскаго получало громаднѣйшую демагогическую силу: оно не только подрывало самого Корнилова; оно натравливало народные массы на ту силу, при помощи которой онъ самъ хотѣлъ продолжать войну... и по ироніи судьбы къ которой ему суждено было черезъ два мѣсяца обратиться за собственнымъ спасеніемъ.

«Извѣщеніе» Керенскаго написано рукой искушенной въ политическихъ интригахъ; это была рука его ближайшаго помощника Некрасова, усиленно толкавшаго Керенскаго на скорѣйшій разрывъ съ Корниловымъ.

Горячій патріотическій призывъ телеграммы генерала Корнилова могъ быть услышанъ лишь малоприспособленной къ борьбѣ нашей либеральной интеллигенціей и буржуазіей. Но это не была дѣйственная сила. Болѣе дальновидные люди предвидѣли это. Такъ напримѣръ В. А. Маклаковъ *), одинъ изъ выдающихся представителей нашей либеральной интеллигенціи, предупреждалъ Новосильцева: «Передайте генералу Корнилову, что вѣдь мы его провоцируемъ, особенно М-въ **). Вѣдь Корнилова никто не поддержитъ, всѣ спрячутся» ***). Этотъ нѣсколько жесткій отзывъ былъ очевидно сказанъ В. А. Маклаковымъ, чтобы охладить пылъ авантюристическаго окруженія ген. Корнилова. На самомъ дѣлѣ и либеральныя и буржуазныя партіи были въ это время безсильны дѣйственно поддержать ген. Корнилова въ случаѣ немедленнаго «ку д'ета».

Было только сочувствіе.

*) Осенью 1917 года былъ назначенъ Вр. Правит. Россійскимъ посломъ въ Парижѣ.

***) Здѣсь подразумѣвается лидеръ констит.-демократовъ.

***) Цитирована у ген. Деникина, «Очерки Русской Смуты», Т. II, стр. 31.

Требовался еще періодъ подготовки и организаціи для того, чтобы это сочувствіе могло превратиться въ дѣйственную силу.

Такое положеніе дѣла было даже формулировано. Въ Москву, въ эпоху бывшаго тамъ съѣзда представителей несоціалистическихъ общественныхъ группировокъ, прибылъ изъ Ставки капитанъ Роженко, присланный, повидимому, по инициативѣ политическаго окруженія ген. Корнилова. Капитанъ Роженко обратился къ вышеупомянутому Новосильцеву съ просьбой собрать на частное совѣщаніе наиболѣе видныхъ общественныхъ дѣятелей, дабы поставить ихъ въ извѣстность относительно называемыхъ событій. На квартирѣ одного изъ лидеровъ конституціонно-демократической партіи, возглавлявшей въ эти минуты нашу либеральную общественность, состоялось собраніе вліятельныхъ членовъ Госуд. Думы и политическихъ дѣятелей. Докладъ Роженко на этомъ собраніи «своей легкостью произвелъ на всѣхъ тягостное впечатлѣніе», пишетъ ген. Деникинъ*). Одинъ изъ участниковъ собранія такъ описываетъ этотъ эпизодъ: «Обсуждать тутъ же этотъ докладъ увлекающагося офицера не хотѣли. Было ясно, что сочувствуютъ дѣлу всѣ, но никто не вѣритъ въ успѣхъ»... Черезъ нѣсколько дней взволнованное всѣхъ сообщеніе обсуждалось вновь въ болѣе широкомъ кругу либеральныхъ и консервативныхъ политическихъ дѣятелей. «Послѣ долгихъ объясненій», говоритъ одинъ изъ нихъ, «П. Н. Милуковъ отъ лица дѣятелей конституціонно-демократическаго направленія сдѣлалъ заявленіе о томъ, что они сердечно сочувствуютъ намѣреніямъ Ставки остановить разруху и разогнать совѣтъ раб. и солд. депутатовъ. Но настроеніе массъ таково, что они никакой помощи оказать не могутъ. Массы будутъ противъ нихъ, если они активно выступятъ противъ Правительства и совѣта раб. и солд. депутатовъ. Поэтому на Милукова и его единомышленниковъ рассчитывать нельзя». Къ этому заявленію присоединились знакомъ молчаливаго согласія остальные общественники.

Несостоятельность ген. Корнилова какъ Верховнаго Главнокомандующаго и состояла въ томъ, что онъ не уяснялъ себѣ всей сложности процессовъ соціальной жизни. Онъ былъ героемъ — солдатомъ, Верховный же Главнокомандующій въ

*) Ген. Деникинъ, «Очерки Русской Смуты», Т. II,

условіяхъ современной войны, когда борются между собой не арміи, а сами народы — долженъ быть прежде всего Государственнымъ человекомъ.

Въ распоряженіи генерала Корнилова была только одна дѣйственная сила—это было все то же наше рядовое офицерство. Въ этой средѣ призывъ генерала Корнилова нашель громадный отзвукъ. Этотъ отзвукъ, въ связи съ обрисовавшейся картиной провокаціи, жертвой которой сталъ ген. Корниловъ, не только притянулъ къ нему сердца патриотовъ офицеровъ, но навсегда оттолкнулъ ихъ и отъ Керенскаго и отъ социалистовъ вообще. Въ примитивно политически мыслящемъ массовомъ офицерствѣ навсегда закрѣпилось убѣжденіе, что всякій социалистъ, крайній или умѣренный, долженъ быть въ концѣ концовъ «предателемъ отечества». Эта привившаяся въ подсознаніи нашего рядового офицерства идея будетъ вліять въ теченіе всего послѣдовавшаго Бѣлаго Движенія и будетъ мѣшать вождямъ этого движенія использовать въ работѣ по возсозданію Россіи тѣхъ многочисленныхъ социалистовъ, которые — такъ же какъ и правые и либералы — любили свою Родину.

Для того, чтобы использовать тотъ порывъ, который могъ вызвать въ офицерской средѣ ген. Корниловъ, требовалась внимательная и продуманная работа по подготовкѣ и организаціи. Офицерство было вкраплено въ солдатскія массы. Оно было крайне стѣснено въ своихъ взаимоотношеніяхъ, т. к. солдатскія массы жадными глазами слѣдили за всякой офицерской организаціей. Сдѣлано ли было что-нибудь въ этомъ отношеніи ген. Корниловымъ? Мы говорили выше, что сейчасъ же послѣ разговора съ Савинковымъ Ставка вызвала съ фронта нѣкоторое число офицеровъ и направила ихъ для подавленія ожидающаго въ столицѣ возстанія большевиковъ. Но это мѣропріятіе было принято слишкомъ поздно, проводилось при этомъ крайне торопливо, вслѣдствіе чего и не могло привести къ другому результату, какъ поставить вызванныхъ офицеровъ въ трудное положеніе. Другихъ мѣропріятій подобнаго рода черезъ Ставку, какъ нормальный исполнительный органъ воли Верховнаго Главнокомандующаго, не проводилось. Самъ начальникъ Штаба, этотъ ближайшій помощникъ Верховнаго Главнокомандующаго, былъ внѣ какой-либо подобной подготовки.

Намъ кажется, что это служить лучшимъ доказатель-

ствомъ того, что генераль Корниловъ «ку д'ета» не замышлялъ.

Однако, помимо самого генерала Корнилова, въ окруженіи, конечно, дѣлались попытки организовать заговоръ; все это производилось съ такимъ легкомысліемъ, съ такимъ незнаніемъ дѣла, что если, съ одной стороны, Керенскій, знавшій уже въ августѣ всѣ нити этой младенчески организованной конспираціи, могъ не опасаться ея, то съ другой стороны, самъ ген. Корниловъ, призывая своей телеграммой къ возстанію противъ Временнаго Правительства, долженъ былъ бы знать, что единственная реальная сила, на поддержку которой онъ могъ рассчитывать, еще не была для этого достаточно организована.

Тѣмъ не менѣе, уступивъ чувству глубокаго возмущенія пріемами своего политическаго противника и поддавшись вліянію своего окруженія, ген. Корниловъ бросилъ свой призывъ. Это не было актомъ Государственной мудрости, которая должна была быть главнымъ качествомъ Верховнаго Главнокомандующаго.

Второй разъ наше офицерство вовлеклось въ авантюру.

Первый разъ — это было іюльское наступленіе, представлявшее собою стратегическую авантюру.

Теперь это была политическая авантюра.

Первая авантюра уже озлобила солдатъ противъ офицеровъ.

Вторая сдѣлала ихъ врагами.

Въ этомъ отношеніи ген. Корниловъ вмѣстѣ съ Керенскимъ играли въ руку своего общаго врага — большевиковъ, окончательно расчленивъ Русскую армію на двѣ враждебныя части, которыя впоследствии будутъ называться одна Бѣлой, а другая Красной арміей. Керенскій подрывалъ вѣру солдатскаго лагеря въ патріотическія намѣренія офицерства и утверждалъ въ этомъ лагерѣ убѣжденіе, что всѣ требованія дисциплины, которыя исходили изъ рядовъ Команднаго состава, диктовались лишь однимъ желаніемъ — желаніемъ пораженія солдатъ въ личныхъ офицерскихъ интересахъ. Генераль же Корниловъ окончательно подрывалъ въ офицерствѣ идею Временнаго Правительства. До сихъ поръ, несмотря на кризисы, происходившіе во Временномъ Правительствѣ и приводившіе къ измѣненію его состава, все-таки идея хотя бы нѣкоторой легитимности сохранялась; сохранялась, слѣдователь-

но, и идея Временнаго Правительства, долженствовавшего безъ «ку д'эта» довести страну до Учредительнаго Собранія. Въ своей телеграммѣ ген. Корниловъ обвиняетъ Временное Правительство въ томъ, что оно «дѣйствуетъ въ полномъ согласіи съ планами Германскаго Генеральнаго Штаба»; это было обвиненіемъ въ измѣнѣ; между тѣмъ, несмотря на все недостойное поведеніе Керенскаго, подобнаго обвиненія ему не могло быть брошено. Въ составѣ Временнаго Правительства находились и представители либеральныхъ партій, сочувствовавшихъ ген. Корнилову; своимъ обвиненіемъ въ измѣнѣ ген. Корниловъ чрезвычайно затруднял и ихъ положеніе. Но главнымъ было то, что въ создавшихся въ это время условіяхъ подрывъ идеи Временнаго Правительства неминуемо велъ къ диктатурѣ. Какъ мы знаемъ, у генерала Корнилова не было въ рукахъ той силы, при помощи которой онъ могъ бы осуществить диктатуру. Стало быть, онъ открывалъ двери для осуществленія диктатуры тѣмъ лицамъ, которыя сумѣютъ, хотя бы обманными способами, привлечь къ себѣ солдатскія и народныя массы. Наибольшіе шансы имѣли въ этомъ отношеніи большевики, которые были единственной изъ политическихъ партій, сулившей немедленный миръ.

Любопытна исторія составленія телеграммы ген. Корнилова.

Корреспондентъ газеты «Русское Слово» Лембичъ объяснилъ слѣдственной комиссіи, что эта телеграмма была написана въ адъютантской комнатѣ ординарцемъ ген. Корнилова Завойко, которую прочелъ вслухъ присутствовавшимъ, а затѣмъ понесъ къ ген. Корнилову. Черезъ нѣсколько минутъ Завойко вернулся съ подписанной телеграммой и, обратившись къ Лембичу и къ корреспонденту «Утра Россіи» Митропольскому, сказалъ: «Вотъ вамъ, господа корреспонденты, историческій документъ, огласите его» *).

«Очевидно, Завойко», пишетъ по этому поводу Мартыновъ **): «стремившійся къ перевороту, умышленно придавъ отвѣтному объявленію Корнилова такой характеръ, чтобы, насколько возможно, помѣшать примиренію».

По показанію начальника дипломатической канцеляріи въ

*) «Архивъ Октябрьской Революціи», Дѣло о Корниловѣ, № 9, л. II, Показанія Лембича.

**) «Корниловъ», стр. 111.

Ставокъ, кн. Трубецкого, эта телеграмма, означавшая окончательный разрывъ, была отправлена безъ вѣдома начальника Штаба и генераль-квартирмейстеровъ, которые ее не читали и узнали объ ея отправленіи лишь утромъ 10-го сентября (28 августа *)).

Характерное совпаденіе: истинными авторами такихъ рѣшающихъ ходъ событій документовъ какъ «Извѣщеніе» Керенскаго и «Призывъ» ген. Корнилова, были ни тотъ ни другой изъ лицъ, въ которыхъ персонифицировалась борьба. Съ одной стороны, это былъ Некрасовъ **), съ другой — Завойко. Оба эти лица въ политическомъ отношеніи представляли собою абсолютно отрицательныя фигуры.

11-го сентября (28 августа) отъ имени ген. Корнилова было объявлено слѣдующее «Обращеніе къ Народу»:

«Я, Верховный Главнокомандующій, генераль Корниловъ, передъ лицомъ всего народа, объявляю, что долгъ солдата, самопожертвованіе гражданина свободной Россіи и беззаветная любовь къ Родинѣ заставили меня въ эти грозныя минуты бытія отечества не подчиниться приказанію Временнаго Правительства и оставить за собою Верховное Командованіе народными арміями и флотомъ».

«Поддержанный въ этомъ рѣшеніи всѣми Главнокомандующими фронтами, я заявляю всему народу Русскому, что предпочитаю смерть устраненію меня отъ должности Верховнаго. Истинный сынъ народа Русскаго погибаетъ на своемъ посту и несетъ въ жертву Родинѣ самое большое, что онъ имѣетъ — свою жизнь».

«Въ эти поистинѣ ужасающія минуты существованія отечества, когда подступы къ обвѣмъ столицамъ почти открыты для побѣднаго шествія торжествующаго врага, Временное Правительство, забывая вопросъ независимаго существованія страны, кидаетъ въ народъ призрачный страхъ контръ-революціи, которую оно само своимъ неумѣніемъ къ управленію,

*) Газета «Общее Дѣло», № 8 отъ 4 октября, Записка кн. Трубецкого.

***) Инициатива, редакція и даже подпись фамиліи Керенскаго приписываются Некрасову. Слѣдственная Комиссія такъ и не добилась подлинника.

своею слабостью. къ власти, своей нерѣшительностью въ дѣйствіяхъ вызываетъ къ скорѣйшему воплощенію».

«Не мнѣ, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазахъ всѣхъ отдавашаго на беззавѣтное служеніе ему, не стоять на стражѣ великихъ свободъ, великаго будущаго своего народа. Но нынѣ будущее это въ слабыхъ, безвольныхъ рукахъ; надменный врагъ, посредствомъ подкупа и предательства, распоряжающійся у насъ въ странѣ, какъ у себя дома, несетъ гибель не только свободѣ, но и существованію Народа Русскаго. Очнитесь, люди Русскіе, отъ безумія ослѣпленія и взглядитесь въ бездонную пропасть, куда стремительно идетъ наша Родина».

«Избѣгая всякихъ потрясеній, предупреждая какое-либо пролитіе русской крови въ междуусобной брани и забывая обиды и всѣ оскорбленія, я передъ лицомъ всего народа обращаюсь къ Временному Правительству и говорю: Пріѣзжайте ко мнѣ въ Ставку, гдѣ свобода ваша и безопасность обезпечены моимъ честнымъ словомъ и совмѣстно со мной выработайте и образуйте такой составъ Правительства Народной Обороны, который, обезпечивая побѣду, велъ бы народъ Русскій къ великому будущему, достойному Могучаго Свободнаго Народа».

Тонъ заключительныхъ словъ этого документа несравненно болѣе примирительный, нежели тонъ «Призыва» генерала Корнилова, посланнаго наканунѣ. Здѣсь уже нѣтъ обвиненія Времен. Правительства въ измѣнѣ. Несомнѣнно, что генералъ Корниловъ готовъ былъ во имя интересовъ Родины идти на уступки. Однако, этотъ документъ тоже вышелъ изъ подъ пера ординарца Верховнаго Главнокомандующаго Завойки, вдохновлявшаго ген. Корнилова на непримиримость. И вотъ въ это обращеніе оказались включенными слова, въ которыхъ ген. Корниловъ давалъ торжественное обѣщаніе передъ Россіей умереть, но не допустить своего смѣщенія съ поста Верховнаго. Этимъ возможность мирной ликвидаціи конфликта сводилась къ нулю, т. к. ни одно Правительство, какъ бы оно ни именовалось — «Временнымъ» или «Народной Обороны», не могло согласиться съ тѣмъ, чтобы кто-либо могъ не подчиниться его верховной волѣ и это въ особенности въ то время, когда требовались энергичнѣйшія мѣры по восстановленію въ Арміи субординаціи и дисциплины; первая, такъ же какъ

и вторая, не могли быть возрождены одними репрессивными мѣрами, а прежде всего примѣромъ, подаваемымъ сверху.


Впрочемъ, опасенія политическаго окруженія ген. Корнилова, что онъ пойдетъ на примиреніе, были излишни. Со стороны Керенскаго дѣлалось все, чтобы подобное примиреніе было невозможнымъ. Въ тотъ же день, какъ ген. Корниловъ выпустилъ свое «Обращеніе къ Народу», Керенскій опубликовалъ слѣдующій приказъ войскамъ Петрограда:

«Возставшій на власть Временнаго Правительства бывшій Верховный Главнокомандующій генераль Корниловъ, заявлявшій о своемъ патриотизмѣ и вѣрности народу въ своихъ телеграммахъ, теперь на дѣлѣ показалъ свое вѣроломство. Онъ взялъ полки съ фронта, ослабивъ его сопротивленіе нещадному врагу — Германцу, и всѣ эти полки отправилъ противъ Петрограда. Онъ говоритъ о спасеніи Родины — и сознательно создаетъ братоубійственную войну. Онъ говоритъ, что стоитъ за свободу, — и посылаетъ на Петроградъ Туземную дивизию. Товарищи, часъ испытанія вашей вѣрности свободѣ, революціи наступилъ и, въ сознаніи святости исполняемаго долга передъ Родиной, встрѣтите стойко и славно вашихъ, обманутыхъ генераломъ Корниловымъ, бывшихъ товарищей по арміи. Пусть увидятъ они передъ собою истинные революціонные полки, непреклонно рѣшившіеся защищать Правительство революціи, и пусть, пока не поздно, поймутъ и устыдятся того дѣла, на которое ихъ преступно послали. Если же не поймутъ, я, вашъ министръ, увѣренъ, что вы безъ страха и до конца исполните свой великій долгъ».

А нѣсколько часовъ позже по всѣмъ желѣзнымъ дорогамъ тыла и фронта была разслана телеграмма Керенскаго, которой приказывалось «никакихъ распоряженій бывшаго Верховнаго Главнокомандующаго Корнилова, **измѣниваго Родинѣ**, не исполнять».

Теперь уже Керенскій объявлялъ ген. Корнилова **измѣнникомъ**. Такая квалификація при самомъ строгомъ сужденіи поведенія ген. Корнилова никакъ не могла быть къ нему примѣнена. Ибо ген. Корниловъ съ фронта для ослабленія его никакихъ полковъ не снималъ; 3-й конный корпусъ былъ взятъ изъ резерва Юго-Западнаго фронта. Последнее было извѣстно Временному Правительству, и самъ Керенскій еще

1-го сентября (19-го августа) приказалъ военному министру Савинкову просить у генерала Корнилова этотъ конный корпусъ для реального осуществленія военнаго положенія въ Петроградѣ и для защиты Временнаго Правительства отъ какихъ бы то ни было посягательствъ, въ частности отъ посягательства большевиковъ *).



*) Архивъ Октябрьской Революціи. Дѣло о Корниловѣ, № 27, л. 37. Показанія Савинкова.



*Военное министерство Временного Правительства
(четвертого состава)*

"Нива № 32, Август 1917

Провозглашеніе Россійской республики и образованіе Совѣта Пяти.

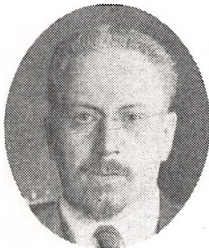
Отъ Временнаго Правительства.

Мятежъ генерала Корнилова подавленъ, но велика смута, внесенная имъ въ ряды арміи и въ страну, и снова велика опасность, угрожающая судьбѣ родины и ея свободѣ. Считаая нужнымъ положить предѣль внѣшней неопредѣленности государственнаго строя, памятуя единодушное и восторженное признаніе республиканской идеи, которое сказалось на московскомъ Государственномъ Совѣщаніи, Временное Правительство объявляетъ, что государственный порядокъ, которымъ управляется Россійское государство, есть порядокъ республиканскій, и провозглашаетъ Россійскую республику.

Срочная необходимость принятія немедленныхъ и рѣшительныхъ мѣръ для возстановленія потрясеннаго государственнаго порядка побудила Временное Правительство передать полноту своей власти по управленію пяти лицамъ изъ его состава, во главѣ съ министромъ-предсѣдателемъ. Временное Правительство своею главною задачею



А. Ф. Керенский М. И. Терешенко



А. М. Никитин



*Контр-адмирал
Вердеревский*



*Генерал-майор
А.И. Верховский*

"Совет Пяти" (Директория)

считаетъ возстановленіе государственнаго порядка и боеспособности арміи. Убѣжденное, что только сосредоточеніе всѣхъ живыхъ силъ страны можетъ вывести родину изъ того тяжелаго положенія, въ которомъ она находится, Временное Правительство будетъ стремиться къ расширенію своего состава путемъ привлеченія въ свои ряды представителей всѣхъ тѣхъ элементовъ, кто вѣчные и общіе интересы родины ставитъ выше временныхъ и частныхъ интересовъ отдѣльныхъ партій или классовъ. Временное Правительство не со-

миѣвается въ томъ, что эта задача будетъ имъ исполнена въ теченіе ближайшихъ дней.

Министръ-предсѣдатель *А. Керенскій*, министр юстиціи *А. Зарудный*.

1-го сентября 1917 года.

"Нива" № 33, Август 1917

Главный редактор
Е. А. Брейтбарт-Самсонова

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D 6230 Frankfurt a. M. 80
Тел. (069) 34 46 71

Непринятые рукописи не возвращаются.

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими напечатанными в нем произведениями, редакция журнала „Грани” выпускает карманные сборники избранного из „Граней”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатаны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 страниц. Они легко помещаются в кармане или женской сумочке. Каждому путешественнику – советскому ли за рубежом, иностранному ли в России – не трудно взять их с собой.

Мы обращаемся к читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число читателей;
- просите друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!

Мы обращаемся к читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!

Эти сборники предназначены для России! Каждый, желающий их иметь **ДЛЯ РОССИИ**, – может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

А. Kandaurow c/o „Possev-Verlag”
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

Уже выпущены следующие сборники „Граней”:

Сборник	№ 1	из	№№	87/88-94	(разошелся)
Сборник	№ 2	из	№№	78-86	(разошелся)
Сборник	№ 3	из	№№	71-77	(разошелся)
Сборник	№ 4	из	№№	69-70	(разошелся)
Сборник	№ 5	из	№№	53-68	
Сборник	№ 6	из	№№	49-52	
Сборник	№ 7	из	№№	40-51	
Сборник	№ 8	из	№№	34/35-39	

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:
в издательстве — 60 н.м.
через магазины — 70 н.м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

Стоимость подписки на 12 номеров:
в издательстве — 72 н. м.
через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»

Христианское чтение

в печати № 14

В продаже еще все номера, кроме №№ 1 и 2

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.
НАДЕЖДА” — 24 н. м.

Расходы по пересылке за счет подписчика

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15
или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main
или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

ISSN 0017-3185